

ЗОЛОТАЯ



СЕРИЯ

ЭМИЛЬ
ЗОЛЯ



Зарубежная литература

Ругон-Маккары

Эмиль Золя

Его превосходительство

Эжен Ругон

1876

Золя Э.

Его превосходительство Эжен Ругон / Э. Золя — 1876 — (Ругон-Маккары)

Содержание

I	5
II	18
III	33
IV	48
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Эмиль Золя

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ЭЖЕН РУГОН

I

Председатель стоял, а в зале все еще не утихало легкое волнение, вызванное его приходом. Он сел и небрежно, вполголоса, бросил:

– Заседание объявляю открытым.

И он начал перебирать законопроекты, лежавшие перед ним на столе. Слева от председателя близорукий секретарь, которого никто не слушал, скороговоркой читал, уткнувшись носом в бумагу, протокол предыдущего заседания. В зале было шумно, и чтение достигало слуха одних лишь курьеров, очень внушительных, очень подтянутых по сравнению с неприужденно развалившимися членами Палаты.

Присутствовало не более ста депутатов. Одни глядели куда-то в пространство и уже подремывали, слегка откинувшись на обитых красным бархатом скамьях. Другие, сгорбившись, словно их давила скука этого заседания, тихонько постукивали кончиками пальцев по красному дереву пюпитров. Сквозь застекленный потолок, который серым полукружием врезался в небо, отвесно падал отблеск дождливого майского дня, равномерно озаряя суровую пышность зала. Свет струился вдоль ступеней амфитеатра широкой красноватой полосой с темным отливом, которая вспыхивала розовыми бликами на углах пустых скамей, тогда как нагота скульптурных групп и статуй за спиной председателя сверкала белизной.

У третьей скамьи справа в узком проходе стоял какой-то депутат. С озабоченным видом он потирал рукой жесткую седеющую бороду, напоминавшую ошейник. Остановив всходявшего по ступеням курьера, он вполголоса спросил его о чем-то.

– Нет, господин Кан, – ответил курьер, – господин председатель Государственного совета еще не прибыл.

После этого Кан сел. Потом он внезапно обратился к соседу слева:

– Послушайте, Бежуэн, вы видели сегодня утром Ругона?

Бежуэн, худой черный человечек с замкнутым лицом, поднял голову, – глаза его беспокойно блуждали, мысли были далеко. Выдвинув доску пюпитра, он писал деловые письма на листках голубой бумаги со штемпелем фирмы Бежуэн и компания, Хрустальный завод, Сен-Флоран.

– Ругона? – повторил он. – Нет, не видел, у меня не было времени зайти в Государственный совет.

И он не спеша опять погрузился в свое занятие. Под невнятное бормотание секретаря, кончавшего чтение протокола, он принялся за второе письмо, изредка заглядывая в записную книжку.

Кан скрестил руки и откинулся на спинку скамьи. Его энергичное лицо с крупным, красиво очерченным носом, выдававшим еврейское происхождение, было угрюмо. Он посмотрел на золоченые розетки потолка, перевел взгляд на струйки дождя, которые стекали по стеклам, потом глаза его остановились: казалось, он тщательно изучает сложные украшения противоположной стены. На секунду его внимание привлекли стальные панели, обтянутые зеленым бархатом; на них отчетливо выделялись золотые квадраты с эмблемами. Потом, мысленно измерив расположенные попарно колонны, между которыми, повернув к депутатам мраморные лица с пустыми глазами, стояли аллегорические статуи Свободы и Общественного порядка, он нако-

нец углубился в созерцание зеленого шелкового занавеса, закрывавшего фреску с изображением Луи-Филиппа, присягающего Хартии.¹

Секретарь тем временем сел. Шум в зале не умолкал. Председатель не торопясь продолжал перелистывать бумаги. Он машинально нажал на педаль звонка, но, несмотря на оглушительный звон, разговоры не прекратились. Тогда он поднялся и с минуту безмолвно ожидал.

– Господа, – начал он, – мною получено письмо...

Он позвонил еще раз и с непроницаемым, скучающим видом продолжал молча ожидать, возвышаясь над монументальным столом, отделанным внизу плитками красного мрамора, оправленными в рамки из белого мрамора. Его наглухо застегнутый сюртук выделялся на фоне стенового барельефа, черной чертой рассекая пеплуи² Земледелия и Промышленности – статуй с греческим профилем.

– Господа, – повторил председатель, когда водворилась относительная тишина, – мною получено письмо от господина Ламбертона, который приносит свои извинения; он не может присутствовать на сегодняшнем заседании.

На шестой скамье против стола кто-то негромко рассмеялся. Совсем молодой депутат, лет двадцати восьми, не больше, белокурый и обворожительный, прикрывая рот белыми руками, старался заглушить смех, звонкий, как у хорошенькой женщины. Один из его коллег, человек огромных размеров, пересел через три скамьи и на ухо спросил у него:

– Правда ли, что Ламбертон застал жену... Расскажите-ка, Ла Рукет.

Председатель взял стопку бумаг. Голос его звучал монотонно. До глубины зала долетали обрывки фраз.

– Испрашивают отпуска... господин Блаше, господин Бюкен-Леконт, господин де Ла Виллардьер.

Пока Палата давала разрешение на испрошенные отпуска, Кану, по-видимому, надоело разглядывать зеленый шелк, скрывающий неблагонадежное изображение Луи-Филиппа, и он слегка обернулся, чтобы посмотреть на галерею. Над желто-мраморной каймой с наведенными лаком прожилками виднелся за колоннами один-единственный ряд галереи, обтянутый пурпурным бархатом; подвешенный сверху ламбрекен из гофрированной меди не мог скрыть пустоту, образовавшуюся после уничтожения верхнего ряда, где до Второй империи обычно помещались журналисты и публика. Между массивными пожелтевшими колоннами, которые обрамляли амфитеатр пышным и тяжеловесным полукругом, виднелись почти пустые ложи; лишь в немногих ярким пятном выделялись светлые женские платья.

– Ага! Полковник Жобэлен явился! – пробормотал Кан.

Он улыбнулся полковнику, когда тот его заметил. Полковник Жобэлен был в темно-синем сюртуке, который служил ему после отставки своего рода гражданским мундиром. Украшенный большой, словно узел шейного платка, розеткой офицера Почетного Легиона³, полковник одиноко расположился в ложе квесторов⁴. Кан посмотрел левее, и взгляд его задержался на юноше и молодой женщине, нежно прижавшихся друг к другу в уголке ложи Государственного совета. Юноша то и дело наклонялся к уху своей спутницы и что-то ей говорил, а она, не оборачиваясь и не сводя глаз с аллегорической статуи Общественного порядка, тихо улыбалась.

– Послушайте, Бежуэн! – шепнул депутат, толкая коленом своего коллегу.

Бежуэн писал в этот момент пятое письмо. Он растерянно взглянул на Кана.

¹ Герцог Орлеанский Луи-Филипп, ставший королем Франции после Июльской революции 1830 г., 9 августа присягнул на верность новой конституции. Буржуазные либералы раздували значение Хартии.

² В античном мире женская туника без рукавов.

³ Военный и гражданский орден, учрежденный Наполеоном I в 1802 г.

⁴ В древнем Риме должностные лица, основной функцией которых было заведование государственной казной. В данном случае Золя имеет в виду финансистов.

– Видите там, наверху, маленького д'Эскорайля и хорошенькую госпожу Бушар? Бьюсь об заклад, что он щиплет ей ляжки, такие у нее томные глаза... Похоже на то, что все друзья Ругона условились здесь встретиться. А вот еще в ложе для публики госпожа Коррер и чета Шарбоннелей.

Раздался продолжительный звонок. Курьер красивым басом провозгласил: «Внимание, господа!» Все насторожились. Тут председатель произнес фразу, которую услышали все:

– Господин Кан испрашивает согласия на напечатание речи, которую он произнес при обсуждении законопроекта о муниципальном налоге на кареты и лошадей города Парижа.

По скамьям пронесся ропот, и разговоры возобновились. Ла Рукет подсел к Кану.

– Итак, вы трудитесь на благо народа? – пошутил он.

Потом, не дав тому ответить, добавил:

– Вы не видели Ругона? Ничего нового не знаете? Об этом все говорят. Но, по-видимому, еще ничего не решено.

Он повернулся, взглянул на стенные часы:

– Уже двадцать минут третьего! Как охотно я улетучился бы, если бы не чтение этой проклятой докладной записки! Оно действительно назначено на сегодня?

– Мы все предупреждены, – ответил Кан. – Отмены, насколько мне известно, не было. Вам следует остаться. Сразу после чтения будут утверждать ассигнование четырехсот тысяч франков на крестины.

– Несомненно, – подтвердил Ла Рукет. – Старого генерала Легрена, у которого недавно отнялись ноги, привез слуга; генерал сидит в зале заседаний и ожидает голосования... Император вправе рассчитывать на преданность всего Законодательного корпуса в полном составе. По такому торжественному случаю все до единого должны отдать ему свои голоса.

Молодому депутату с великим трудом удалось напустить на себя серьезный вид, приличествующий политическому деятелю. Слегка покачивая головой, он с важностью надул красивые щеки, украшенные редкой белокурой растительностью. Он явно упивался двумя последними ораторскими фразами, которые ему удалось сочинить. Потом вдруг расхохотался и сказал:

– Боже мой! Ну и вид у этих Шарбоннелей!

И они с Каном начали издеваться над Шарбоннелями. Жена куталась в какую-то неописуемую желтую шаль; на муже был надет один из тех, сшитых в провинции, сюртуков, которые словно вырублены топором. Оба они, тучные, багровые, расплывшиеся, сидели, почти касаясь подбородком бархатной обивки, чтобы лучше следить за ходом заседания, в котором они, судя по их вытаращенным глазам, ровно ничего не понимали.

– Если Ругон слетит, – прошептал Ла Рукет, – я и двух су не дам за процесс Шарбоннелей... Да и госпожа Коррер...

Он наклонился к уху Кана и еле слышно продолжал:

– Вы-то ведь знаете Ругона; объясните мне, что собой представляет эта госпожа Коррер? Она содержала гостиницу, не так ли? Когда-то у нее жил Ругон. Говорят даже, что она давала ему деньги взаймы... Чем она занимается теперь?

Кан сделал непроницаемое лицо. Он не спеша погладил бороду, напоминавшую ошейник.

– Госпожа Коррер весьма почтенная особа, – решительно заявил он.

Этот ответ в корне пресек любопытство Ла Рукета. Он поджал губы, как школьник, который только что получил нагоняй. Оба депутата с минуту молча разглядывали госпожу Коррер, сидевшую возле Шарбоннелей. На ней было яркое платье лилового цвета, щедро украшенное кружевами и драгоценностями; слишком розовая, с мелкими, как у куклы, белокурыми кудряшками на лбу, она выставляла напоказ полную шею, еще очень красивую, несмотря на сорокавосьмилетний возраст ее обладательницы.

В глубине зала хлопнула дверь, слышался шелест юбок, и все оглянулись. В ложе дипломатического корпуса появилась высокая, необычайно красивая девушка в причудливом, дурно сшитом атласном платье цвета морской воды и с нею – пожилая дама в черном.

– Взгляните! Прекрасная Клоринда! – С этими словами Ла Рукет привстал и на всякий случай поклонился.

Кан тоже встал.

– Послушайте, Бежуэн, – шепнул он своему коллеге, занятому заклеивать писем, – здесь графиня Бальби с дочерью. Я поднимусь к ним и спрошу, не видали ли они Ругона.

Председатель взял со стола новую стопку бумаг. Не переставая читать, он бегло взглянул на прекрасную Клоринду Бальби, чье появление в зале было встречено перешептыванием. Передавая одну за другой бумаги секретарю, он продолжал говорить без выражения, без точек и запятых:

– Внесение законопроекта об отсрочке взыскания дополнительного налога с таможи города Лилля... Внесение законопроекта о слиянии в одну общину общин Дульван-ле-Пети и Виль-ан-Блезе (Верхняя Марна)...

Кан вернулся совершенно обескураженный.

– Его решительно никто не видел, – сообщил он Бежуэну и Ла Рукету, встретив их у нижних рядов амфитеатра. – Мне сообщили, что вчера вечером император вызывал его к себе, но неизвестно, чем кончилась их беседа... Самое скверное, когда не знаешь, чего ожидать.

Едва Кан отвернулся, как Ла Рукет шепнул Бежуэну:

– Бедняга Кан весь трясется от страха, что Ругон поссорится с дворцом. Тогда ему не видать железной дороги.

На это немногословный Бежуэн внушительно заметил:

– Уход Ругона из Государственного совета будет потерей для всех.

И, поманив курьера, попросил его опустить в почтовый ящик только что написанные письма.

Трое депутатов так и остались стоять у стола, с левой стороны. Они сдержанно переговаривались о немилости, которая грозила Ругону. Дело было запутанное. Некто Родригес, дальний родственник императрицы⁵, требовал с 1808 года от французского правительства уплаты двух миллионов франков. Во время испанской войны⁶ французский фрегат «Вижилант» задержал в Гасконском заливе и препроводил в Брест грузженное сахаром и кофе судно, владельцем которого был Родригес. Основываясь на расследовании, произведенном местной комиссией, интендант определил правомочность захвата, не снесясь предварительно с призовым судом. Тем временем Родригес поспешил обратиться в Государственный совет. Потом он умер, и его сын при всех правительствах тщетно пытался возобновить дело, пока в один прекрасный день слово его правнучки, которая стала теперь всемогущей, не вызвало эту тяжбу из забвения.

Над головами депутатов раздавался монотонный голос председателя, продолжавшего перечислять:

– Внесение законопроекта о займе департаменту Кальвадос в размере трехсот тысяч франков... Внесение законопроекта о займе городу Амьену в размере двухсот тысяч франков на устройство новых бульваров... Внесение законопроекта о займе департаменту Кот-д'Юр в размере трехсот сорока пяти тысяч франков для покрытия образовавшегося за последние пять лет дефицита...

– А все дело в том, – продолжал, еще более понижая голос, Кан, – что этот Родригес придумал хитрую штуку. У него с одним из его зятьев, который жил в Нью-Йорке, были совер-

⁵ Луи Бонапарт в 1853 г. женился на испанской графине Евгении Монтихо.

⁶ Имеется в виду вторжение Наполеона I в Испанию, начавшееся в 1808 г. и вызвавшее всенародное восстание против французских оккупантов; восстание разрослось в партизанскую войну, длившуюся до низложения Наполеона.

шенно одинаковые суда, плававшие то под американским, то под испанским флагом, в зависимости от того, что было без опаснее... Ругон заверил меня, что захвату подверглось судно самого Родригеса, который не имел решительно никакого права требовать возмещения.

– Тем более, – добавил Бежуэн, – что дело велось безупречно. Брестский интендант, согласно обычаям порта, имел все основания, не обращаясь в призовой суд, признать захват правомочным.

Они помолчали. Ла Рукет, прислонившись к мраморной облицовке, задира голову, стараясь привлечь внимание прекрасной Клоринды. Потом он простодушно спросил:

– Но почему Ругон не желает, чтобы Родригесу выплатили два миллиона франков? Ему-то что за дело?

– Это вопрос совести, – внушительно отрезал Кан.

Ла Рукет поочередно посмотрел на обоих своих коллег, но, увидев их торжественные лица, даже не улыбнулся.

– Кроме того, – продолжал Кан, словно отвечая на невысказанные вслух мысли, – с тех пор как Марси⁷ стал министром внутренних дел, у Ругона начались неприятности. Они всегда не выносили друг друга... Ругон мне говорил, что, не будь он так предан императору, которому уже оказал много услуг, он давно удалился бы от дел. Словом, ему теперь не по себе в Тюильри, он чувствует, что пора перекраситься.

– Он действует как честный человек, – продолжал твердить Бежуэн.

– Да, – многозначительно заметил Ла Рукет, – если он хочет уйти в отставку, то сейчас самый подходящий момент. И все-таки его друзья будут в отчаянье. Поглядите наверх, какой встревоженный вид у полковника: он так надеялся к 15 августа получить красную ленту! А хорошенькая госпожа Бушар, – она ведь клялась, что distinguished господин Бушар будет назначен начальником отделения в Министерстве внутренних дел не позже, чем через полгода. Маленький д'Эскорайль, любимчик Ругона, должен был положить приказ о назначении под салфетку Бушара в день именин мадам. Кстати, куда исчезли маленький д'Эскорайль и хорошенькая госпожа Бушар?

Они начали искать их. Наконец юная пара была обнаружена в глубине той самой ложи, первый ряд которой она занимала при открытии заседания. Молодые люди спрятались за спину пожилого лысого господина и неподвижно сидели в темном уголке, изрядно раскрасневшись.

Но тут председатель окончил чтение. Последние слова он произнес приглушенным голосом, словно ему трудно было справиться с варварской топорностью фразы:

– Внесение законопроекта, имеющего утвердить увеличение процентов на заем, утвержденный законом от 9 июня 1853 года, а также чрезвычайный налог в пользу департамента Ламанш.

Кан бросился навстречу депутату, который входил в зал. Он подвел вновь пришедшего к своим коллегам со словами:

– А вот и господин де Комбело... Он расскажет нам новости.

Камергер де Комбело, которого департамент Ланд избрал депутатом по прямому повелению императора, сдержанно поклонился, ожидая вопросов. Высокий, красивый, с белоснежной кожей, он, благодаря своей иссиня-черной бороде, пользовался огромным успехом у женщин.

– Что говорят во дворце? – спросил Кан. – На что решился император?

– Бог мой, разное говорят, – прокартавил де Комбело. – Император преисполнен искренней дружбы к господину председателю Государственного совета. Точно известно, что беседа протекала в самых дружественных тонах... Да, в самых дружественных тонах.

⁷ Прототипом Марси частично послужил один из сподвижников Наполеона III – герцог де Мори, бывший министром внутренних дел.

И он замолчал, словно взвешивая про себя свои слова и выясняя, не слишком ли далеко он зашел.

– Значит, Ругон взял назад заявление об отставке? – спросил Кан, и глаза его блеснули.

– Этого я не сказал, – встревожился камергер. – Я ничего не знаю. У меня, видите ли, особое положение...

Он не кончил и, ограничившись улыбкой, поспешно прошел к своей скамье. Кан пожал плечами и обратился к Ла Рукету:

– Мне сейчас пришло в голову, что вы-то во всяком случае должны быть в курсе дела. Разве ваша сестра, госпожа де Льоренц, вам ничего не рассказывает?

– Ну, моя сестра еще больше скрытничает, чем господин ле Комбело, – рассмеялся молодой депутат. – С тех пор как ее назначили придворной дамой, она стала непроницаемой мини-стра... Однако вчера она заверила меня, что отставка будет принята... Кстати, вот забавная история: говорят, будто к Ругону была подослана некая дама, чтобы его уговорить. Знаете, что сделал Ругон? Выставил ее за дверь... Причем дама была очаровательная.

– Ругон – целомудренный человек, – торжественно заявил Бежуэн.

Ла Рукет так и покатился со смеху; он стал возражать, уверял, что мог бы привести факты, если бы захотел.

– Например, – зашептал он, – госпожа Коррер..

– Ничего подобного! – возразил Кан. – Вы просто не в курсе дела.

– В таком случае – прекрасная Клоринда!

– Бросьте! Ругон слишком умен, чтобы потерять голову из-за этой долговязой девчонки!

И, наклонившись друг к другу, они занялись легкомысленным разговором, пересыпая его весьма недвусмысленными словечками. Они делились слухами, ходившими об этих двух итальянках, матери и дочери, наполовину авантюристках, наполовину светских дамах, которые появлялись повсюду, в любой толчее: у министров, на авансцене захудалых театриков, на модных пляжах, в третьеразрядных гостиницах. Передавали, что мать была отпрыском королевского дома; дочь, незнакомая с французскими представлениями о приличиях и поэтому прославившаяся сумасбродной, невоспитанной «долговязой девчонкой», была способна загнать насмерть верховую лошадь, выставляла напоказ в дождливую погоду грязные чулки и стоптанные башмаки, охотилась за мужем, расточая не по-девически смелые улыбки. Ла Рукет рассказал, что однажды вечером она явилась на бал к кавалеру Рускон», папскому послу, в костюме Дианы-охотницы – таком откровенном, что на следующий день господин де Нужаред, старый и весьма лакомый до женщин сенатор, чуть было не предложил ей руку и сердце. И пока Ла Рукет болтал, все трое поглядывали в сторону прекрасной Клоринды, которая, не считаясь с правилами, рассматривала по очереди всех членов Палаты в большой театральный бинокль.

– Нет, нет! – повторил Кан. – Ругон никогда не сделает такой глупости. Он говорит, что она очень умна, и в шутку называет ее «мадмуазель Макиавелли».⁸ Просто она забавляет его.

– И все-таки, – заключил Бежуэн, – Ругон делает ошибку, что не женится. Женитьба придает человеку солидности.

Они единодушно согласились, что Ругону нужна жена немолодая, лет тридцати пяти по меньшей мере, которая внесла бы в дом атмосферу добропорядочности.

Тем временем вокруг них все зашумело. Они до того погрузились в рискованный разговор, что перестали замечать окружающее. Откуда-то, из глубины коридоров, глухо доносились голоса курьеров, взывавших: «На заседание, господа! На заседание!» И депутаты стекались со всех сторон к массивным, настежь распахнутым дверям из красного дерева с золотыми звездами на филенках. Полупустой до этого зал постепенно наполнился. Кучки депутатов, которые

⁸ Макиавелли Никколо (1469—1527) – итальянский политический деятель и историк, проповедовавший крайнюю политическую беспринципность и цинизм и оправдывавший любые, даже самые коварные и жестокие методы управления.

лениво перебрасывались через скамьи замечаниями, сонные, зевающие, утонули в нарастающем прибое людей, усердно обменивавшихся рукопожатиями.

Рассаживаясь по местам, члены Палаты улыбались друг другу; казалось, что все они принадлежат к одной семье; на их лицах было написано сознание долга, который они собирались сейчас исполнить. Толстяка, уснувшего глубоким сном на последней скамье слева, растолкал сосед, и когда последний шепнул ему на ухо несколько слов, толстяк поспешно протер глаза и принял пристойную позу. Заседание, которое до сих пор было посвящено слишком скучным для этих господ деловым вопросам, начинало приобретать захватывающий интерес.

Увлекаемые толпой, Кан и его коллеги, сами того не замечая, добрались до своих скамей. Стараясь не слишком громко смеяться, они продолжали болтать. Ла Рукет рассказал еще одну сплетню о прекрасной Клоринде. Однажды ей пришла в голову ни с чем не сообразная прихоть обтянуть свою спальню черной тканью с золотыми блестками и принимать близких друзей в постели, покрывшись черными одеялами, из-под которых виднелся только кончик ее носа.

Опустившись на скамью, Кан внезапно пришел в себя.

– Черт бы побрал этого Ла Рукета с его дурацкими баснями! – пробормотал он. – Оказывается, я прозевал Ругона!

И он яростно набросился на соседа:

– Послушайте, Бежуэн, вы могли бы толкнуть меня!

Ругон, только что с положенными почестями введенный в зал, уже сидел между двумя членами Совета на скамье государственных чиновников – огромной клетке красного дерева, стоявшей у стола заседаний на месте упраздненной трибуны. Зеленый суконный сюртук,шитый золотом по вороту и обшлагам, казалось, готов был лопнуть на его широких плечах. Повернув к залу лицо, обрамленное гривой седеющих волос над четырехугольным лбом, он прятал глаза под тяжелыми, всегда полузакрытыми веками; крупный нос, мясистые губы, массивные щеки без единой морщинки, хотя их обладателю уже исполнилось сорок шесть лет, говорили о бесцеремонной грубости, в которой проглядывала порою красота силы. Спокойно устроившись на месте, уткнув подбородок в воротник, он сидел, словно никого не замечая, с безразличным, слегка усталым видом.

– Вид у него самый обычный, – вполголоса заметил Бежуэн.

Депутаты вытягивали шеи, желая разглядеть лицо Ругона. Шепот сдержанных замечаний перебежал от скамьи к скамье. Но особенно сильное впечатление произвел приход Ругона в ложах. Шарбоннели, стараясь быть замеченными, так восторженно свесились вниз, что чуть было не свалились. Госпожа Коррер слегка закашлялась и, делая вид, что подносит платок к губам, взмахнула им. Жобэлен выпрямился, а хорошенькая госпожа Бушар поспешно перешла в первый ряд и, немного запыхавшись, стала перевязывать ленту на шляпке, в то время как раздосадованный д'Эскорайль молча стоял за ней. Что касается прекрасной Клоринды, то она повела себя без стеснений. Видя, что Ругон не поднимает глаз, она несколько раз отчетливо стукнула биноклем по мрамору колонны, к которой прислонилась, а когда он все же не поглядел в ее сторону, звонко сказала матери, так что услышал весь зал:

– Хитрый толстячок изволит дуться!

Депутаты расплылись в улыбке и повернулись к ней. Ругон решил наконец бросить на нее взгляд. И когда он чуть заметно кивнул ей, она торжествующе хлопнула в ладоши, откинулась назад и, смеясь, громко заговорила с матерью, не устаивая вниманием глазевших на нее снизу мужчин.

Прежде чем снова опустить веки, Ругон неторопливо обвел взглядом ложи, заметив и госпожу Бушар, и полковника Жобэлена, и госпожу Коррер, и Шарбоннелей. Лицо его осталось непроницаемым. Он снова уткнул подбородок в воротник и, сдерживая легкую зевоту, полузакрыв глаза.

– Все-таки я попробую перекинуться с ним словечком, – шепнул Кан на ухо Бежуэну.

Но едва он встал, как председатель, внимательно оглядев зал и убедившись, что все депутаты на месте, дал продолжительный звонок. Внезапно воцарилось глубокое молчание.

С первой скамьи из желтого мрамора, над которой возвышался белый мраморный пюпитр, поднялся светловолосый депутат. В руках у него был большой лист бумаги, от которого он ни на минуту не отрывал глаз.

– Я имею честь, – начал он нараспев, – представить докладную записку о законопроекте, открывающем правительству из бюджета 1856 года кредит в размере четырехсот тысяч франков для покрытия расходов по устройству празднеств в честь рождения наследника престола.

И он медленно направился к столу, словно собираясь положить на него записку, но тут все депутаты закричали согласным хором:

– Читайте! Читайте!

Пока председатель ставил на голосование вопрос о том, состоится ли чтение, белокурый депутат ждал. Потом он начал растроганным тоном:

– Господа! Внесенный правительством законопроект относится к числу тех, для которых обычные формы утверждения кажутся слишком медленными, ибо они не дают простора единодушному порыву Законодательного корпуса.

Прекрасно! – выкрикнуло несколько членов Палаты. В самых убогих семьях, – отчеканивал каждое слово докладчик, – рождение сына, рождение наследника и все сопутствующие этому событию мысли о продлении рода составляют предмет столь сладостного счастья, что бывшие испытания забываются и одна лишь надежда на будущее витает над колыбелью новорожденного. Но что сказать о семейном торжестве, которое одновременно является торжеством великой нации и событием для всей Европы?

Зал пришел в восхищение. Члены Палаты млели от восторга, внимая риторической тираде докладчика. Погруженный, казалось, в дрему, Ругон видел перед собой на скамьях амфитеатра одни лишь сияющие лица. Иные депутаты слушали с преувеличенным вниманием, приставив руки к ушам, чтобы не пропустить ни слова из этой лощеной прозы. После короткой остановки докладчик повысил голос:

– Сейчас, господа, мы присутствуем при том, как великая семья французов призывает своих членов выразить всю полноту их радости; и какое тут потребовалось бы великолепие, если бы вообще внешние проявления могли хоть сколько-нибудь соответствовать величию законных надежд Франции!

И он снова нарочито приостановился.

– Прекрасно! Прекрасно! – раздались все те же голоса.

– Очень изящно сказано, не правда ли, Бежуэн? – заметил Кан.

Бежуэн покачивал головой, уставившись на люстру, которая свешивалась с застекленного потолка над столом заседаний. Он наслаждался.

В ложах прекрасная Клоринда, вскинув бинокль, не отрываясь следила за сменой выражений на лице докладчика, у Шарбоннелей увлажнились глаза, госпожа Коррер приняла позу внимательно слушающей светской дамы, полковник одобрительно кивал головой, хорошенькая госпожа Бушар самозабвенно прислонилась к колену д'Эскорайля. Меж тем председатель, секретари, даже курьеры торжественно внимали, не позволяя себе ни единого жеста.

– Колыбель наследного принца, – продолжал докладчик, – стала залогом грядущей безопасности, ибо, продолжая династию, которую мы все единодушно избрали, наследник обеспечивает процветание и устойчивый мир страны, а тем самым и устойчивый мир всей Европы.

Возгласы «тише!», видимо, помешали взрыву энтузиазма, который чуть было не произошел, когда дело дошло до трогательного образа колыбели.

– В другие времена отпрыск этой прославленной семьи⁹ тоже, казалось, был призван выполнить великое назначение, но с тех пор все изменилось. Мудрое и проницательное правление принесло нам мир¹⁰, плоды которого мы пожинаем, тогда как поэтическая эпопея, носящая название Первой империи, была продиктована гением войны. Приветствуемый при рождении громом пушек, которые как на севере, так и на юге прославляли силу нашего оружия, король Римский не имел счастья послужить своей родине: таковы были тогда пути провидения.

– Что он несет? Залез в какие-то дебри! – прошептал скептически настроенный Ла Рукет. – Какой неловкий оборот! Он все испортит.

И в самом деле, депутаты встревожились. К чему эти исторические воспоминания, которые стесняют их рвение? Кое-кто стал сморкаться. Но докладчик, чувствуя, что его последняя фраза обдала всех холодной водой, улыбнулся. Он повысил голос и продолжил свою антитезу, взвешивая каждое слово, заранее уверенный в эффекте.

– Но явившись в торжественные дни, когда рождение одного является спасением для всех, наследник Франции дарует и нам и грядущим поколениям право жить и умереть под отчим кровом. Таков ниспосланный нам сейчас залог господнего милосердия.

Конец фразы был великолепен. Депутаты почувствовали это, по залу пробежал шепот облегчения. Уверенность в вечном мире, действительно, была весьма отрадна. Государственные мужи, успокоившись, снова начали упоенно смаковать этот литературный перл. Досуга у них хватало. Европа принадлежала их повелителю.

– Когда император, ставший арбитром Европы, – заговорил докладчик с новым подъемом, – собирался подписать великодушный мир, который, объединяя все производительные силы наций, тем самым должен был способствовать союзу народов и королей, – в это самое время господа было угодно увенчать его личное счастье и славу. Разве не позволительно думать, что в ту минуту, как он увидел перед собой колыбель, где покоится, еще совсем крошечный, продолжатель его великой политики, он обрел уверенность во многих грядущих годах процветания?

Очень мил и этот образ. И, безусловно, позволителен: члены Палаты подтвердили это легким склонением голов. Но записка стала казаться чуть-чуть растянутой. Многие депутаты начали даже посматривать краешком глаза на логи, как и. подобает трезвым людям, которым немного совестно показываться во всей своей политической наготе. Иные совсем забылись, лица их приняли землистый оттенок, и они мысленно занялись своими делами, снова постукивая пальцами по красному дереву пюпитра; в памяти смутно всплывали другие заседания, другие проявления преданности, приветствовавшей власть в колыбели. Ла Рукет часто оглядывался, смотрел на часы и, когда стрелка показала без четверти три, безнадежно махнул рукой: он опаздывал на свидание. Кан и Бежуэн, скрестив руки, неподвижно сидели бок о бок, переводя мигающие глаза от широких панелей зеленого бархата к беломраморному барельефу, на котором черным пятном выделялся сюртук председателя. В дипломатической ложе прекрасная Клоринда, вскинув бинокль, снова принялась внимательно разглядывать Ругона, который покоился на скамье в великолепной позе спящего быка.

Докладчик, однако, не торопился и читал для самого себя, сопровождая каждое слово ритмичным и ханжеским движением плеч.

– Так проникнемся же полным и нерушимым доверием, и пусть Законодательный корпус в эту исполненную торжественного величия минуту вспомнит о своем изначальном равенстве с императором, которое дает ему, преимущественно перед другими государственными учреждениями, почти родственное право участвовать в радостях государя. Порожденный, как и

⁹ Сын Наполеона I Франсуа-Бонапарт (так называемый Наполеон II), король Римский, герцог Рейхштадтский, который содержался в фактической неволе в Австрии, где и умер в 1832 г. в возрасте 21 года.

¹⁰ Наполеон III лицемерно обещал мир, но неоднократно вовлекал Францию в военные авантюры.

он, свободным волеизъявлением народа, Законодательный корпус поистине становится сейчас гласом народа и готов принести августейшему младенцу дань нерушимой верности, преданности до последнего вздоха и безграничной любви, превращающей политические убеждения в религию, заветы коей благоговейно исполняются.

По-видимому, дело близилось к концу, раз речь зашла о дани, религии и заветах. Шарбоннели решились шепотом обменяться впечатлениями; госпожа Коррер слегка кашлянула в платок. Хорошенькая госпожа Бушар незаметно перебралась в глубь ложи Государственного совета, к Жюлю д'Эскорайлю.

И действительно, внезапно изменив голос, докладчик уже не торжественным, а обыкновенным тоном скороговоркой пробубнил:

– Мы предлагаем вам, господа, незамедлительно и безоговорочно принять законопроект в том виде, в каком его внес Государственный совет.

Он опустил на место среди оглушительного шума.

– Прекрасно! Прекрасно! – кричали все.

Отовсюду неслись возгласы: «Браво!». Де Комбело, чье одобрительное внимание ни на минуту не ослабевало, выкрикнул даже: «Да здравствует император!», но его голос утонул в общем гаме. Была устроена настоящая овация полковнику Жобэлену, который одиноко стоял в ложе и, в нарушение всех правил, самозабвенно хлопал костлявыми руками. Ожили восторги, вызванные первыми фразами, посыпались поздравления. Скуке пришел конец. Депутаты перекидывались через скамьи любезностями, друзья, хлынувшие к докладчику, с жаром пожимали ему руки.

Вскоре из общего гула выделилось одно слово:

– Обсуждать! Обсуждать!

Председатель не садился, словно ожидая этого выкрика. Он позвонил и сказал среди внезапно наступившего почтительного молчания:

– Господа, многие члены Палаты предлагают незамедлительно перейти к обсуждению.

– Да, да! – подтвердили, как один, все депутаты.

Но никакого обсуждения не было. Сразу перешли к голосованию. Два пункта законопроекта, последовательно поставленные на утверждение, были приняты простым вставанием с места. Едва председатель успевал дочитать пункт, как все депутаты, сверху донизу амфитеатра, поднимались сплошной массой, сильно стуча ногами, точно охваченные волной энтузиазма. Потом по рядам двинулись курьеры, держа в руках цинковые ящики-урны. Кредит в четыреста тысяч франков был единогласно принят двумястами тридцатью девятью депутатами.

– Недурное дельце! – простодушно заметил Бежуэн и тут же рассмеялся, решив, что удачно сострил.

– Четвертый час, я удираю, – бросил Ла Рукет, проходя мимо Кана.

Зал пустел. Депутаты потихоньку пробирались к дверям и, казалось, исчезали в стенах. На повестке Дня стояли вопросы местного значения. Вскоре на скамьях остались лишь самые прилежные из депутатов – те, кому в этот день, решительно нечем было заняться. Они либо снова погрузились в дремоту, либо возобновили прерванные было разговоры, и заседание окончилось, как и началось, при общем невозмутимом равнодушии. Постепенно умолк даже гул голосов, словно Законодательным корпусом в этом тихом уголке Парижа овладел глубокий сон.

– Послушайте, Бежуэн, – попросил Кан, – попробуйте при выходе вывести что-нибудь у Делестана. Он явился вместе с Ругоном и, вероятно, в курсе дела.

– Вы правы, это действительно Делестан! – удивился Бежуэн, взглянув на члена Совета, сидевшего слева от Ругона. – Я их никогда не различаю в этих дурацких мундирах.

– Я никуда не уйду, пока не изловлю нашего великого человека, – заявил Кан. – Мы должны все узнать.

Председатель ставил на утверждение бесчисленное количество законопроектов, которые были приняты вставанием с мест. Депутаты машинально поднимались и снова садились, не переставая разговаривать, не переставая дремать. Воцарилась такая скука, что ушли даже немногочисленные зеваки, сидевшие в ложах. Остались только друзья Ругона. Они все еще надеялись, что он будет говорить.

Неожиданно поднялся депутат с безукоризненными бакенбардами, похожий на провинциального стряпчего. Налаженная работа машины голосования сразу оборвалась. Все с величайшим интересом обернулись.

– Господа, – начал депутат, стоя у своей скамьи, – позвольте мне объяснить причины, побудившие меня, вопреки моему желанию, высказаться против большинства комиссии.

Голос у него был такой визгливый, такой забавный, что прекрасная Клоринда фыркнула в руку. Внизу, среди депутатов, удивление все возрастало. В чем дело? Почему он выступил? Из взаимных расспросов выяснилось, что председатель поставил на обсуждение законопроект, утверждавший для департамента Восточных Пиренеев заем в двести пятьдесят тысяч франков на строительство в Перпиньяне Дворца правосудия. Оратор – генеральный советник департамента – высказался против закона. Это показалось интересным. Его стали слушать.

Между тем депутат с безукоризненными бакенбардами выступал необычайно осторожно. В речи, полной недомолвок, он расшаркивался перед всеми мыслимыми властями. Но расходы департамента велики, – и он дал исчерпывающую картину финансового положения Восточных Пиренеев. Кроме того, потребность в новом Дворце правосудия кажется ему недостаточно обоснованной. Он проговорил таким образом минут пятнадцать. Он опустил на место весьма взволнованный. Ругон, поднявший было веки, снова медленно их опустил.

Теперь настала очередь докладчика, живого старичка, который говорил отчетливо, как человек, знающий свое дело. Сперва он отпустил любезность по адресу почтенного коллеги, с чьим мнением он, к великому сожалению, не может согласиться. Департамент Восточных Пиренеев отнюдь не так обременен долгами, как это пытаются изобразить; и в свою очередь орудуя цифрами, но уже другими, он полностью изменил картину финансового положения Восточных Пиренеев. К тому же потребность в новом Дворце правосудия отрицать невозможно. Докладчик привел подробности. Старый Дворец расположен в столь густо населенной части города, что из-за уличного шума судьи не слышат защитников. Кроме того, Дворец очень мал: когда во время заседаний суда присяжных собирается много свидетелей, последним приходится ожидать на лестничной площадке, где на них может быть оказано нежелательное давление. Докладчик закончил неотразимым, по его мнению, доводом, что на продвижении этого законопроекта настаивает сам министр юстиции.

Ругон сидел неподвижно, положив руки на колени, прислонившись затылком к красному дереву скамьи. Он как будто еще больше отяжелел с той минуты, как разгорелся спор. Когда первый оратор собрался отвечать, Ругон медленно привстал и, не расправляя массивной спины, тягучим голосом произнес одну-единственную фразу:

– Уважаемый докладчик забыл добавить, что законопроект одобрен министром внутренних дел и министром финансов.

Он тяжело сел и снова стал похож на спящего быка. Среди депутатов пронесся как бы легкий шелест. Оратор согнулся в поклоне и занял свое место. Законопроект был принят. Те из депутатов, которые с интересом следили за прениями, напустили на себя безразличный вид.

Выступление Ругона состоялось. Полковник Жобэлен обменялся из своей ложи взглядом с четой Шарбоннелей, а госпожа Коррер собралась уходить, как уходят из театра, не дожидаясь падения занавеса, едва лишь герой пьесы произнесет последнюю тираду. Д'Эскорайль и госпожа Бушар уже исчезли. Выпрямив великолепный стан, Клоринда стояла у бархатного борта ложи и, медленно накидывая кружевную шаль, скользила взглядом по амфитеатру. Капли дождя перестали стучать по застекленному потолку, но мрачная туча по-прежнему заволаки-

вала небо. В мутном свете дня красное дерево пюпитров казалось черным; скамьи тонули во мгlistом тумане, и лишь лысины депутатов выступали в нем белыми пятнами; председатель, секретарь и курьеры, вытянувшись в одну линию на фоне мраморных цоколей под неясной белизной аллегорических статуй, казались застывшими силуэтами китайских теней. Внезапно наступившие сумерки поглотили зал.

– Боже мой, здесь можно задохнуться! – с этими словами Клоринда подтолкнула мать к выходу из ложи.

Она так вызывающе обтянула бедра шалью, что привела в замешательство курьеров, дремавших на лестничной площадке.

Внизу, в вестибюле, дамы столкнулись с полковником и госпожой Коррер.

– Мы будем ждать его, – сказал полковник, – быть может, он здесь пройдет. Кроме того, я сделал знак Кану и Бежуэну, чтобы они вышли и рассказали мне новости.

Госпожа Коррер подошла к графине Бальби.

– Какое это будет несчастье, – со скорбью в голосе произнесла она, но от дальнейших объяснений воздержалась.

Полковник возвел глаза к небу.

Люди, подобные Ругону, нужны стране, – помолчав, заметил он. – Это было бы ошибкой со стороны императора. Все снова замолчали. Клоринда хотела заглянуть в зал ожидания, но курьер захлопнул перед ее носом дверь. Тогда она вернулась к матери, непроницаемая под черной вуалеткой.

– Ненавижу ждать! – прошептала она.

В вестибюль вошли солдаты. Полковник сообщил, что заседание окончилось. Действительно, на лестнице появились Шарбоннели. Они осторожно шагали друг за другом, держась за перила.

– Сказал он немного, но глотку им заткнул отлично, – крикнул Шарбоннель, увидев полковника и направляясь к нему.

– Будь у него побольше подходящих случаев, – ответил ему на ухо полковник, – вы бы не то услышали! Ему нужно разойтись.

Между тем от зала заседаний и до коридора президиума, который выходил в вестибюль, выстроились в две шеренги солдаты. Под барабанную дробь появилась процессия. Впереди, с парадными шляпами подмышкой, шли два курьера в черных мундирах; на шее у каждого висела цепь, эфесы шпаг отливали сталью. За ними в сопровождении двух офицеров следовал председатель. Шествие замыкали правитель дел и два секретаря канцелярии президиума. Проходя мимо прекрасной Клоринды, председатель, несмотря на торжественность шествия, улыбнулся ей улыбкой светского человека.

– Вот вы где! – воскликнул взъерошенный Кан, налетев на своих друзей.

Невзирая на то, что в зал ожидания не было доступа для публики, он всех втолкнул туда и подтащил к одной из стеклянных дверей, выходивших в сад. Он был разъярен.

– Опять прозевал! – воскликнул он. – Пока я подстерегал его в зале генерала Фуа, он ушел через выход на улицу Бургонь... Но неважно, мы все равно узнаем: я напустил Бежуэна на Делестана.

Прошло еще добрых десять минут, они все ждали. Из широких задрапированных зеленым сукном дверей беззаботной походкой выходили депутаты. Иные замедляли шаг, закуривая сигару. Другие, собравшись кучками, обменивались рукопожатиями и пересмеивались. Госпожа Коррер тем временем углубилась в созерцание группы Лаокоона.¹¹ Шарбоннели закинули назад головы, разглядывая чайку, которую мещанский вкус художника изобразил на

¹¹ Древнегреческая скульптурная группа, изображающая троянского жреца Лаокоона и двух его сыновей в момент, когда их удушают чудовищные змеи.

самой кайме фрески, словно птица только что вылетела оттуда; прекрасная Клоринда остановилась перед огромной бронзовой Минервой и с интересом изучала руки и грудь колоссальной богини. В нише стеклянной двери полковник Жобэлен и Кан, понизив голоса, оживленно беседовали.

– Вот и Бежуэн! – всполошился Кан.

Все с напряженными лицами сбились в кучу. Бежуэн с трудом переводил дух.

– Ну, что? – слышалось со всех сторон.

– А то, что отставка принята, Ругон уходит.

Новость подействовала, как удар обуха по голове. Воцарилось тяжелое молчание. В это время Клоринда, нервно теребившая конец шали, чтобы чем-нибудь занять беспокойные руки, увидела в саду хорошенькую госпожу Бушар, которая медленно шла под руку с д'Эскорайлем, наклонив к его плечу голову. Воспользовавшись открытой дверью, они покинули зал раньше других и под кружевом молодой листвы совершали любовную прогулку по аллеям, предназначенным для глубокомысленных размышлений. Клоринда поманила их рукой.

– Великий человек уходит в отставку, – сообщила она улыбающейся молодой женщине.

С побледневшим серьезным лицом госпожа Бушар отпрянула от своего спутника, а Кан, окруженный обескураженными друзьями Ругона, безмолвно протестовал, в отчаянии воздев руки к небу.

II

Утром в «Монитере»¹² появилось сообщение об отставке Ругона, «по причине ухудшения здоровья». После завтрака он явился в Государственный совет, чтобы к вечеру полностью очистить помещение для своего преемника. Сидя перед огромным палисандровым столом в большом, красном с золотом, председательском кабинете, Ругон освобождал ящики, складывая бумаги стопками и перевязывая их розовыми ленточками.

Он позвонил. Вошел курьер, могучего сложения мужчина, бывший кавалерист.

– Принесите зажженную свечу, – обратился к нему Ругон.

Курьер, сняв с камина один из подсвечников, поставил его на стол и хотел было уйти, но Ругон остановил его:

– Погодите, Мерль! Никого сюда не впускайте. Слышите, никого!

– Слушаю, господин председатель, – ответил курьер, бесшумно закрывая дверь.

На лице Ругона мелькнула улыбка. Он повернулся к Делестану, который, стоя в другом конце комнаты перед шкафчиком для бумаг, прилежно разбирал папки.

– Милейший Мерль явно не читал сегодня «Монитера», – заметил Ругон.

Не зная, что ответить, Делестан утвердительно кивнул. Голова у него была величественная и совершенно лысая; такие ранние лысины очень нравятся женщинам. Голый череп, непомерно увеличивая лоб, казалось, свидетельствовал о выдающемся уме. Бледно-розовое, квадратное, начисто выбритое лицо напоминало те сдержанные задумчивые лица, которыми мечтательные художники любят наделять великих политических деятелей.

– Мерль очень вам предан, – вымолвил он наконец и снова уткнулся в папку, которую разбирал.

Ругон скомкал какие-то бумаги, зажег их о свечу и бросил в широкую бронзовую чашу, стоявшую на столе. Он смотрел на них, пока они не сгорели.

– Делестан, не трогайте нижних папок, – снова заговорил он. – Там есть дела, в которых, кроме меня, никто не разберется.

После этого они добрую четверть часа работали молча. Стояла чудесная погода, сквозь три больших окна, выходивших на набережную, в комнату лился солнечный свет. Одно из окон было полуоткрыто, и легкие порывы свежего ветерка с Сены шевелили время от времени шелковую бахрому занавесей. Смятые и брошенные на ковер бумаги взлетали, тихонько шурша.

– Взгляните-ка, – сказал Делестан, протягивая Ругону только что обнаруженное письмо.

Ругон прочел и спокойно сжег письмо на свече. Документ был щекотливого свойства. Не отрываясь от бумаг, они стали перекидываться короткими фразами, перемежая их паузами. Ругон благодарил Делестана за помощь. Этот «добрый друг» был единственным человеком, с которым он мог безбоязненно стирать грязное белье, накопившееся у него за пять лет председательства в Государственном совете. Он знал Делестана еще со времен Законодательного собрания¹³, где они заседали рядом на одной скамье. Там-то и почувствовал Ругон искреннюю приязнь к этому красивому человеку, которого он находил восхитительно глупым, никчемным и величественным. Он любил повторять убежденным тоном, что «этот чертов Делестан далеко пойдет». И он тянул его, привязывая к себе нитями благодарности, пользовался им, как ящиком, куда можно было запереть все, что неудобно таскать при себе.

¹² «Монитор Универсаль» («Всеобщий вестник») – официальная правительственная газета, основанная в 1789 г. и существовавшая до 1869 г.

¹³ Законодательное собрание – французский парламент, созданный на основе ноябрьской конституции 1848 г. Господствующее положение в нем занимала реакционная монархическая «партия порядка».

– Зачем было хранить столько бумажек! – проворчал Ругон, открывая новый, доверху набитый ящик.

– А вот женское письмо, – и Делестан подмигнул.

Ругон добродушно рассмеялся. Его мощная грудь сотрясалась. Он взял письмо, заявив, что это не к нему. Пробежав первые строчки, он воскликнул:

– Его сунул сюда маленький д'Эскорайль. Опасная штука, эти записочки. Три строчки от женщины могут далеко завести.

Сжигая письмо, он прибавил:

– Помните, Делестан, остерегайтесь женщин.

Делестан понурился. Он вечно оказывался запутанным в какую-нибудь рискованную интрижку. В 1851 году его политическая карьера чуть было не погибла: будучи страстно влюблен в жену депутата-социалиста, он тогда, угождая мужу, чаще всего голосовал вместе с оппозицией против Тюильри.¹⁴ Поэтому 2 декабря¹⁵ явилось для него ударом обуха по голове. Он заперся у себя и двое суток просидел дома, растерянный, прибитый, уничтоженный, дрожа от страха, что вот-вот за ним придут и арестуют. Ругон помог ему выбраться сухим из воды, посоветовав не выставлять свою кандидатуру на выборах и представив его ко двору, где выудил для него должность члена Государственного совета. Делестан, сын виноторговца из Берси, некогда поверенный в делах, был теперь обладателем образцовой фермы близ Сент-Менегульд, имел состояние в несколько миллионов франков и занимал весьма изысканный особняк на улице Колизея.

– Да, остерегайтесь женщин, – повторил Ругон, роясь в папках и останавливаясь после каждого слова. – Женщины надевают нам на голову корону или затягивают петлю на шее... А в нашем возрасте сердце следует оберегать не меньше, чем желудок.

В эту минуту из передней донесся громкий шум. Послышался голос Мерля, загородившего дверь. В комнату внезапно вошел человек низенького роста и проговорил:

– Должен же я, черт возьми, пожать руку моему милому другу!

– Это – Дюпуаза! – не вставая с места, воскликнул Ругон.

Он приказал Мерлю, который размахивал в знак извинения руками, закрыть дверь. Потом спокойно заметил:

– А я-то думал, что вы в Брессюире. Очевидно, супрефектуру можно покинуть, как надоевшую любовницу.

Дюпуаза, худой человечек с лисьей физиономией и кривыми белоснежными зубами, пожал плечами.

– Я приехал сегодня утром по разным делам, и к вам, на улицу Марбеф, собирался зайти только вечером. Хотел напроситься на обед... Но когда я прочитал «Монитор»...

Он подтащил кресло к столу и плотно уселся напротив Ругона.

– Что же это происходит, объясните мне? Я приезжаю из департамента Десевр, из захолустья... До меня, правда, докатились кое-какие слухи... Но мне и в голову не приходило... Почему вы не написали мне?

Теперь пожал плечами Ругон. Было ясно, что об его опале Дюпуаза пронюхал еще в провинции и прискакал, чтобы выяснить, нельзя ли еще уцепиться за какой-нибудь сучок.

– Я собирался писать вам сегодня вечером. Подавайте-ка в отставку, милейший.

При этих словах Ругон пронизывающим взглядом посмотрел на Дюпуаза.

– Именно это я и хотел узнать; что ж, подадим в отставку, – только и сказал Дюпуаза.

¹⁴ Бывший королевский дворец, резиденция президента.

¹⁵ В ночь на 2 декабря 1851 г. президент Франции Луи Бонапарт совершил государственный переворот в результате которого он захватил власть, а ровно через год – 2 декабря 1852 г. – провозгласил себя императором Наполеоном III.

Насвистывая, он встал, медленно прошелся по комнате и тут только заметил Делестана, который стоял на коленях среди папок, усеявших ковер. Они молча обменялись рукопожатием. Потом Дюпуаза вытащил из кармана сигару и зажег ее о свечу.

– Раз вы переселяетесь, значит, можно курить, – и он снова развалился в кресле. – Люблю переселяться.

Ругон, разбирая стопку бумаг, с глубоким вниманием перечитывал их и тщательно сортировал. Одни он сжигал, другие откладывал; Дюпуаза, запрокинув голову и выпуская уголок рта тонкие струйки дыма, следил за ним. Они познакомились за несколько месяцев до февральской революции.¹⁶ Оба жили тогда у госпожи Мелани Коррер, в гостинице Ванно, на улице Ванно. Дюпуаза попал туда в качестве земляка госпожи Коррер, будучи, как и она, уроженцем Кулонжа, городка в округе Ньор. Он занимался изучением права в Париже, получая от отца, судебного курьера, по сто франков в месяц, хотя тот скопил немалые деньги, отдавая их в рост под большие проценты; источник богатств старика был, впрочем, до такой степени неясен, что в городке поговаривали, будто в каком-то старом шкапу, описанном им за долги, он нашел клад. Как только бонапартисты развернули свою пропаганду, Ругон решил использовать этого щедедушного юношу, который, улыбаясь недоброй улыбочкой, яростно проедал свои сто франков в месяц, и пустился вместе с ним в довольно щекоотливые дела. Позднее, когда Ругон захотел попасть в Законодательное собрание, именно Дюпуаза помог ему одержать победу в жестокой избирательной борьбе и пройти кандидатом от департамента Десевр. Затем, после государственного переворота, Ругон, в свою очередь, оказал услугу Дюпуаза, назначив его супрефектом Брессюира. Молодой человек, которому не исполнилось еще тридцати лет, пожелал блистать в своем родном краю, неподалеку от отца, чья скупость отравляла ему существование с той самой минуты, как он окончил коллеж.

– А как здоровье папаши Дюпуаза? – спросил, не поднимая глаз, Ругон.

– Слишком даже хорошо, – ответил тот напрямик. – Он выгнал свою последнюю служанку за то, что она съедала три фунта хлеба. Теперь он поставил за дверью три заряженных ружья, и когда я прихожу повидать его, мне приходится вести с ним переговоры через забор.

Не переставая болтать, Дюпуаза наклонился и стал кончиками пальцев ворошить остатки полуистлевших в бронзовой чаше бумаг. Заметив эту проделку, Ругон мгновенно поднял голову. Он всегда немного побаивался своего бывшего компаньона, чьи кривые белые зубы напоминали клыки молодого волка. Работая вместе с ним, Ругон неукоснительно следил, чтобы в руках Дюпуаза не оставалась никаких компрометирующих документов. Заметив сейчас, что Дюпуаза старается разобрать не тронутые огнем слова, Ругон бросил в чашу кипу горящих писем. Дюпуаза отлично понял его. Он улыбнулся и шутливо сказал:

– У вас сегодня большая стирка.

И, взяв ножницы, стал орудовать ими, как каминными щипцами. Он зажигал о свечу потухающие письма, давая прогореть в воздухе плотно скомканным бумажкам, перемешивал тлеющие обрывки, как перемешивают спирт, горящий в бокале с пуншем. По чаше пробежали яркие искры; голубоватый дымок, извиваясь, медленно тянулся к открытому окну. Пламя свечи то начинало метаться, то поднималось прямым, высоким языком.

– У вас свеча горит, как над покойником, – усмехнувшись, заговорил Дюпуаза. – Какие похороны, мой бедный друг! Сколько мертвецов надо закопать в этом пепле!

Ругон хотел было ответить, но из передней снова донесся шум. Мерль во второй раз попытался загородить от кого-то дверь. Голоса становились все громче.

– Делестан, будьте так добры, посмотрите, что там происходит, – попросил Ругон. – Если выгляну я, сюда набьется толпа народа.

¹⁶ Революция 22-24 февраля 1848 г., в результате которой была уничтожена Июльская монархия и провозглашена Вторая французская республика.

Делестан вышел и сразу же прикрыл за собою дверь. Но тотчас просунул назад голову и прошептал:

– Это Кан.

– Ну, ладно, пусть войдет. Но только он один, слышите?

Вызвав Мерля, Ругон повторил свое приказание.

– Прошу прощения, дорогой друг, – обратился он к Кану, когда курьер вышел. – Но я занят по горло... Сядьте рядом с Дюпуаза и не двигайтесь. Иначе я выставлю вас обоих за дверь.

Депутата, казалось, ни в малейшей степени не смутил грубый прием. Он привык к характеру Ругона. Взяв кресло, он сел возле Дюпуаза, который закурил вторую сигару.

– Становится жарко, – переводя дух, сказал Кан. – Я с улицы Марбеф; думал, что еще застаю вас дома.

Ругон не ответил; наступило молчание. Он комкал и бросал бумаги в корзину, которую придвинул к себе.

– Мне нужно поговорить с вами, – снова начал Кан.

– Говорите, говорите. Я вас слушаю.

Но депутат сделал вид, будто только теперь заметил беспорядок, царивший в комнате.

– Чем это вы занимаетесь? – спросил он с безукоризненно разыгранным удивлением. – Вы, что же, переезжаете в другой кабинет?

Сказано это было с такими естественными интонациями, что Делестан не поленился встать и сунуть ему под нос «Монитор».

– Боже мой! – воскликнул Кан, заглянув в газету. – А я то считал, что все это было улажено вчера вечером. Прямо гром среди ясного неба! Мой дорогой друг...

Кан встал с места и начал пожимать руки Ругона. Тот молча глядел на него; на толстом лице бывшего председателя Государственного совета легли возле губ глубокие насмешливые складки. Так как Дюпуаза напустил на себя полнейшее безразличие, а Кан забыл прикинуться удивленным при виде супрефекта, то Ругон сообразил, что они виделись утром. Один, должно быть, пошел в Государственный совет, а другой побежал на улицу Марбеф. Таким образом они наверняка не могли прозевать его.

– Итак, вам нужно было что-то сказать мне? – продолжал допытываться Ругон самым миролюбивым тоном.

– Не будем об этом говорить, дорогой друг! – воскликнул депутат. – У вас и без того достаточно хлопот. Не стану же я в такой день докучать вам своими неприятностями.

– Да что там; не стесняйтесь, говорите.

– Ну, хорошо; это касается моего дела: знаете, этой проклятой концессии... Я очень рад, что Дюпуаза здесь. Он может дать нам кое-какие разъяснения.

И он пространно рассказал о положении, в котором находилось его дело. Речь шла о железной дороге из Ньора в Анжер, проект которой Кан вынашивал уже три года. Секрет заключался в том, что дорога должна была пройти через Брессюир, где у Кана были доменные печи, ценность которых немедленно удесятерилась бы; до сих пор, из-за затруднений с перевозками, предприятие прозябало. Кроме того, акционерная компания по осуществлению проекта обещала богатейшие возможности ловли рыбы в мутной воде. Поэтому, добиваясь концессии, Кан развивал бурную деятельность; Ругон энергично его поддерживал и уже почти добился согласия, но министр внутренних дел де Марси, недовольный тем, что не получил доли в столь выгодном деле, и к тому же всегда готовый насолить Ругону, пустил в ход все свое огромное влияние, чтобы провалить проект. Проявив весьма опасную дерзость, он пошел даже на то, чтобы через министра общественных работ предложить концессию Западной компании. Им распространялись слухи, будто никто, кроме этой компании, не сумеет успешно

проложить ветку, работы по строительству которой требовали серьезных гарантий. Кан мог лишиться лакомого куска. Отставка Ругона довершала его разорение.

– Я узнал вчера, – сказал он, – что компания поручила какому-то инженеру изыскать новую трассу... Слышали вы что-нибудь об этом, Дюпуаза?

– Конечно, – ответил супрефект. – Изыскания уже начаты. Хотят избежать крюка, который вы наметили для того, чтобы дорога прошла через Брессюир. Ее собираются вести по прямой линии через Партенэ и Туар.

Депутат безнадежно махнул рукой.

– Меня просто стараются доконать! – вырвалось у него. – Ну что им станется, если ветка пройдет мимо моего завода? Но я буду протестовать, напишу возражение против этой трассы. Я еду в Брессюир вместе с вами.

– Нет, не ждите меня, – улыбнулся Дюпуаза. – Я, надо думать, подам в отставку.

Кан еще глубже ушел в кресло, словно под бременем сокрушительного удара. Обеими руками он потирал бороду, напоминавшую ошейник, и умоляюще смотрел на Ругона. Тот перестал возиться с папками. Опершись локтями о стол, он слушал.

– Вам нужен совет, не так ли? – наконец резко спросил он. – Что ж! Прикиньтесь мертвыми, друзья мои. Старайтесь, чтобы все оставалось в таком положении, как сейчас, и ждите, пока мы снова станем хозяевами. Дюпуаза подаст в отставку, иначе через две недели его уволят. А вы, Кан, пишите императору, всеми силами противьтесь передаче концессии в руки Западной компании. Вам-то, конечно, ее не получить, но, пока она ничья, есть надежда, что со временем она станет вашей.

И так как оба слушателя покачали головой, он продолжал еще грубее:

– Большого я для вас сделать не могу. Меня положили на обе лопатки; дайте мне оправиться. Разве я вешаю нос? Нет, не правда ли? В таком случае, будьте любезны, не делайте вида, будто идете за моим гробом. Что до меня, то я с радостью отстраняюсь от политики. Наконец-то я хоть немного отдохну.

Он глубоко вдохнул воздух, скрестил на груди руки и качнулся всем своим грузным телом. Кан прекратил разговор о своем деле. Стараясь казаться беззаботным, он, подобно Дюпуаза, принял развязный вид. Тем временем Делестан начал разбирать второй шкафчик с папками; он работал почти бесшумно, так что порою казалось, будто в углу за креслами шуршат мыши. Солнце, продвигаясь по красному ковру, срезало угол письменного стола пучком золотистых лучей, от которых пламя горячей свечи сделалось совсем бледным.

Тем временем между присутствующими завязалась дружеская беседа. Ругон, снова занявшийся перевязкой бумаг, уверял, что политика ему не по душе. Он простодушно улыбался, скрывая огонь глаз под опущенными как бы от утомления веками. Ему хотелось бы владеть огромными посевными участками, полями, которые он мог бы распахать по своему усмотрению, стадами домашних животных, быков, баранов, табунами лошадей, сворами собак – и полновластно ими распоряжаться. Он рассказывал, что в далекие времена, когда он был еще неизвестным провинциальным адвокатом в Плассане, величайшей его радостью было надеть блузу, уйти из дому и целыми днями охотиться на орлов в ущельях Сейль. Он твердил, что он крестьянин, что его дед пахал землю. Потом он прикинулся пресыщенным. Власть утомляла его. Лето он проведет в деревне. Этим утром он почувствовал такую легкость, какой никогда еще не испытывал. И могучим движением он расправил широкие плечи, точно ему удалось сбросить с себя какую-то тяжесть.

– Сколько вы получали как председатель? Восемьдесят тысяч франков? – спросил Кан.

Ругон утвердительно кивнул головой.

– Теперь будете получать сенаторские тридцать тысяч. Ну и что же? Ему нужны сущие пустяки, у него нет никаких слабостей. И это правда: он не пьет, не бегает за женщинами, равнодушен к еде. У него одна мечта – быть хозяином у себя в доме, вот и все. И, словно заворо-

женный, он возвращался к мысли о ферме, где все животные будут у него в подчинении. Таков был его идеал – властвовать, держа в руке хлыст; быть выше других, быть самым разумным и сильным. Понемногу он оживился и заговорил о животных, как о людях, утверждая, что толпа любит палку, что пастух подгоняет свое стадо камнями. Ругон преобразился; его толстые губы вздулись от презрения, каждая черточка лица источала силу. Зажав в руках папку, он потрясал ею, готовясь, казалось, запустить в голову Кана или Дюпуаза, встревоженных и смущенных этим приступом ярости.

– Император поступил несправедливо, – пробормотал Дюпуаз.

Эти слова мгновенно успокоили Ругона. Лицо его вновь посерело; тучное, неповоротливое тело обмякло. Он рассыпался в преувеличенных похвалах императору: какой у него мощный ум, какая невероятная проницательность! Кан и Дюпуаза переглянулись. Но Ругон не унимался и говорил о своей преданности, смиренно повторяя, что всегда почитал честью быть простым орудием в руках Наполеона III. Кончилось тем, что он вывел из себя Дюпуаза, человека вспыльчивого и раздражительного. Разгорелась ссора. Дюпуаза с горечью вспоминал, как много ими было сделано для Империи в период с 1848 по 1851 год и как они голодали тогда в гостинице госпожи Мелани Коррер. Он говорил о том, какое это было страшное время, особенно в первый год, когда с утра до ночи они шлепали по парижской грязи, вербуя сторонников Наполеону! А потом сколько раз они рисковали собственной шкурой! Не Ругон ли утром 2 декабря захватил, командуя пехотным полком, Бурбонский дворец? В такой игре можно лишиться головы. А сегодня его приносят в жертву из-за какой-то придворной интриги! Ругон возразил: никто не приносил его в жертву; он сам ушел в отставку по личным соображениям. Но когда Дюпуаза, совсем забывшись, обозвал тех, кто находится в Тюильри, свиньями, – Ругон заставил его замолчать и с такой силой ударил кулаком по палисандровому столу, что дерево треснуло.

– Как это глупо! – коротко проговорил он.

– Вы слишком далеко зашли, – пробормотал Кан. Побледневший Делестан выпрямился в углу за креслами.

Он осторожно приоткрыл дверь, желая проверить, не подслушивают ли их. Но в передней высилась лишь фигура Мерля, чья спина выражала глубочайшую скромность. Слова Ругона отрезвили Дюпуаза; он покраснел и умолк, недовольно жуя сигару.

– Одно ясно, окружение у императора неважное, – помолчав, заметил Ругон. – Я позволил себе указать ему на это, но он только улыбнулся. Он даже снизошел до шутки, заметив, что мое окружение ничуть не лучше.

Кан и Дюпуаза смущенно усмехнулись. Острота показалась им очень удачной.

– Но повторяю вам, – продолжал Ругон, подчеркивая эту фразу, – я ухожу по доброй воле. Если вас, моих друзей, спросят об этом, говорите, что еще вчера я был волен взять свое заявление обратно. Опровергайте также сплетни, распространяемые вокруг дела Родригеса; его превратили в настоящий роман. У меня могли быть по поводу этого дела разногласия с большинством Государственного совета; тут имели место трения, которые, несомненно, ускорили мою отставку. Но вызвали ее причины куда большей давности и большего значения. Уже много времени тому назад я решил уйти с высокого поста, предоставленного мне милостью императора.

Произнося эту тираду, Ругон жестикулировал правой рукой – прием, которым он злоупотреблял, выступая в Палате. Его объяснения были, очевидно, предназначены для публики. Кан и Дюпуаза, изучившие Ругона вдоль и поперек, пытались ловкими маневрами повернуть разговор так, чтобы выяснить истинное положение вещей. Великий человек, как они называли его между собой, затевает, видимо, какую-то большую игру. Они перевели беседу на политику вообще. Ругон стал издеваться над парламентским строем, называя его «навозной кучей посредственностей». По его мнению, Палата все еще располагала недопустимо большой свобо-

дой. Там слишком много болтают. Францией следует управлять при помощи хорошо налаженной машины: наверху стоит император, а внизу расположены правительственные учреждения и чиновники, низведенные до роли колесиков. С яростным презрением к болванам, которые требуют сильного правительства, Ругон излагал свою систему, нелепо ее преувеличивая, и все тело его сотрясало от хохота.

– Но если император наверху, а все остальные внизу, то весело от этого лишь одному императору, – прервал его Кан.

– Те, кому скучно, уходят в отставку, – невозмутимо заметил Ругон. Улыбнувшись, он добавил: – И возвращаются, когда опять сделается интересно.

Они надолго замолчали. Выведав все, что ему было нужно, Кан с довольным видом потирал бороду, напоминая ошейник. Накануне, в Палате, он правильно оценивал события, намекая на то, что Ругон, почувствовав шаткость своего положения в Тюильри и пожелав вовремя перекраситься, сам пошел навстречу немилости; дело Родригеса представило ему великолепный повод пристойно отстраниться.

– А какие ходят разговоры? – спросил Ругон, чтобы прервать молчание.

– Я только что приехал, – ответил Дюпуаза. – Однако я слышал сейчас в кафе, как какой-то господин с орденом горячо одобрял ваш уход.

– Бежуэн был очень расстроен вчера, – заявил, в свою очередь, Кан. – Он вас искренне любит. Немного флегматичен, но человек вполне основательный. Даже маленький Ла Рукет вел себя вполне пристойно. Он прекрасно отзывается о вас.

И они стали перебирать всех и каждого. Ругон без всякого стеснения задавал вопросы, выпытывая точные сведения у депутата, а тот охотно и подробно докладывал о том, как настроен в отношении Ругона Законодательный корпус.

– Я прогуляюсь сегодня по Парижу, – вставил Дюпуаза, страдавший оттого, что ему нечего сообщить, – и завтра вы еще в постели узнаете от меня новости.

– Кстати, забыл рассказать о Комбело, – со смехом воскликнул Кан. – В жизни не видел, чтобы человек чувствовал себя так неловко!

Но он тут же умолк, потому что Ругон показал глазами на спину Делестана, который, стоя на стуле, снимал в эту минуту с книжного шкапа кипу газет. Господин де Комбело был женат на сестре Делестана. С тех пор как Ругон впал в немилость, Делестан немного стеснялся своего родства с камергером; поэтому сейчас он решил блеснуть храбростью.

– Почему вы замолчали? – обернулся он с улыбкой. – Комбело дурак. Как видите, я называю вещи своими именами.

Этот решительный приговор собственному зятю всех развеселил. Делестан, ободренный успехом, дошел до того, что стал насмехаться даже над бородой Комбело, над пресловутой черной бородой, столь знаменитой у женщин. Потом, бросив на ковер пачку газет, он, без всякого видимого перехода, внушительно произнес:

– То, что печалит одних, приносит радость другим.

В связи с этой истиной выплыло имя де Марси. Опустив голову и углубившись в исследование какого-то портфеля, все отделения которого он, по-видимому, тщательно просматривал, Ругон не мешал друзьям отводить душу. Они заговорили о де Марси с ожесточением, свойственным политическим деятелям, когда они набрасываются на противника. Как из ведра полились бранные слова, гнусные обвинения и подлинные факты, раздутые до неправдоподобия. Дюпуаза, знавший Марси еще в прежние времена, до Империи, уверял, что тот жил тогда на содержании у любовницы, какой-то баронессы, бриллианты которой он прокутил в три месяца. Кан утверждал, что ни одна темная афера в Париже не обходится без Марси. Они разжигали себя, стараясь перещеголять друг друга: за какой-то рудник Марси получил взятку в миллион пятьсот тысяч франков; месяц назад он предложил маленькой Флорансе из театра Буфф особняк – так, пустячок, стоимостью в шестьсот тысяч франков, составивших долю

Марси в нечистой сделке с акциями Марокканской железной дороги; наконец, всего неделю назад разразился грандиозный скандал с египетскими каналами, ибо акционеры этого предприятия, затеянного Марси через подставных лиц, пронюхали, что, несмотря на взносы, производимые ими два года подряд, там до сих пор еще ни разу не шевельнули лопатой. Потом друзья Ругона принялись за внешность Марси, издеваясь над высокомерным лицом этого светского авантюриста; приписали ему застарелые болезни, которые когда-нибудь еще сыграют с ним злую шутку, нападали даже на составлявшуюся им в то время коллекцию картин.

– Это бандит в шкуре шута, – заключил наконец Дюпуза. Ругон медленно поднял голову. Его большие глаза впились в собеседников.

– Чего вы только не наговорили, – произнес он. – Марси обделяет свои дела так, как, черт побери!.. и вы хотели бы обделять свои... Мы с ним отнюдь не друзья. Если мне когда-нибудь представится случай уложить его на обе лопатки, – я охотно это сделаю. Но все, что вы здесь наболтали о Марси, не мешает ему быть человеком большой силы. Предупреждаю вас, что, если ему заблагорассудится, он проглотит вас обоих вместе с потрохами.

Утомленный долгим сидением, Ругон, потягиваясь, поднялся с кресла.

– Тем более, друзья мои, что теперь я буду не в силах этому помешать, – добавил он, зевая во весь рот.

– Если бы вы только захотели, – с бледной улыбкой возразил Дюпуза, – вам было бы нетрудно посчитаться с Марси. Тут у вас есть бумажки, за которые он с радостью заплатил бы немалые деньги. Вон там лежит папка с делом Ларденуа, где Марси сыграл довольно странную роль. Я узнаю письмо, писанное его собственной рукой, – весьма занятный документ, доставленный вам в свое время мною.

Ругон бросил в камин бумаги из наполненной доверху корзины. Бронзовой чаши уже не хватало.

– Мы не царапаемся, а избиваем друг друга до полусмерти, – пренебрежительно пожав плечами, ответил он. – Кто не писал дурацких писем, которые потом попадают в чужие руки!

Ругон взял письмо, зажег его о свечу и потом поднес вместо спички к бумагам в камине. Слоноподобный, он сидел на корточках, наблюдая за горящими листами, которые сползали иной раз даже к нему на ковер. Иные административные, бумаги чернели и свивались, точно свинцовые пластинки; записки, какие-то листочки, покрытые каракулями, вспыхивали синими язычками. А в середине огненного костра, сыпавшего вихрем искр, лежали обрывки обгорелых бумаг, которые еще можно было читать.

В это время дверь настежь распахнулась. Кто-то со смехом сказал.

– Так и быть, Мерль, прощаю вас. Я – свой. Если вы не пропустите меня, я проберусь все-таки через зал заседаний.

В кабинет вошел д'Эскорайль, полгода тому назад назначенный Ругоном аудитором Государственного совета. Он вел под руку хорошенькую госпожу Бушар, дышавшую свежестью в своем светлом весеннем наряде.

– Ну вот! Только женщин еще не хватало! – проворчал Ругон.

Он не сразу отошел от камина. Продолжая сидеть на корточках с лопаткой в руке, которой он из опасения пожара сбивал пламя, министр с неудовольствием поднял на гостей свое широкоскулое лицо. Д'Эскорайль не смутился. Как он, так и молодая женщина еще с порога перестали улыбаться, и лица их приняли приличествующее обстоятельствам выражение.

– Дорогой мэтр, я привел к вам одну из ваших почитательниц; она обязательно хотела выразить вам свое сочувствие. Мы прочли сегодня в «Монитере»...

– Вы тоже читаете «Монитер»? – «буркнул Ругон, поднимаясь наконец на ноги.

Тут он увидел не замеченное им ранее лицо.

– А, господин Бушар! – прищурившись, проговорил он.

Действительно, то был супруг. Он пробрался вслед за юбками жены, молчаливый и достойный. Господину Бушару было шестьдесят лет, он весь поседел, глаза его потухли, лицо словно износилось за четверть века работы в министерстве. Он не произнес ни слова, но проникновенно взял Ругона за руку и трижды энергично тряхнул ее сверху вниз.

– Очень мило с вашей стороны, что вы все решили навестить меня, – заметил Ругон, – только вы будете мне страшно мешать... Садитесь сюда в сторонку, вон там... Дюпуаза, подайте кресло госпоже Бушар.

Повернувшись назад, он оказался лицом к лицу с полковником Жобэленом.

– Вы тоже, полковник! – воскликнул Ругон.

Дверь была открыта, так что Мерль не мог загородить ее от полковника, который прошел вслед за Бушарами. Он вел за руку сына, рослого мальчишку лет пятнадцати, обучавшегося в третьем классе лицея Людовика XIV.

– Я хотел показать вам Огюста, – сказал полковник. – Истинные друзья познаются в несчастье. Огюст, поздоровайся.

Но Ругон выскочил в приемную с криком:

– Сию же минуту закройте дверь, Мерль! О чем вы думаете! Сюда соберется весь Париж!

– Но вас уже видели, господин председатель, – невозмутимо ответил курьер.

Ему пришлось посторониться и пропустить Шарбоннелей.

Супруги шли рядышком, но не под руку, задыхаясь, удрученные, перепуганные.

– Мы только что прочли в «Монитере»... Какое известие! Как будет опечалена ваша бедная матушка! А в каком положении оказались мы!

Более простодушные, чем остальные, они собрались было тут же изложить ему свои делишки. Ругон жестом велел им замолчать. Он закрыл дверь на задвижку, замаскированную дверным замком, бормоча: «Пусть-ка попробуют вломиться». Потом, убедившись, что никто из друзей не собирается уходить, он покорился судьбе и, хотя в кабинет набилось уже девять человек, попытался продолжить работу. Из-за разборки бумаг в комнате все было перевернуто вверх дном. На ковре валялась груда папок, так что полковнику и Бушару, пожелавшим пробраться к окну, пришлось шагать с величайшими предосторожностями; чтобы не наступить по дороге на какое-нибудь важное дело. Все сиденья были загромождены связками бумаг. Одной лишь госпоже Бушар удалось пристроиться на кресле, оставшемся свободным. С улыбкой слушала она любезности Кана и Дюпуаза, в то время как д'Эскорайль, не найдя скамеечки, подкладывал ей под ноги мешок из толстой синей бумаги, битком набитый письмами. На составленных в углу ящиках письменного стола примостились на минуту, чтобы перевести дух, Шарбоннели, а юный Огюст, наслаждаясь тем, что попал в такой хаос, рыскал повсюду, исчезая за горой папок, среди которых действовал Делестан. Последний сбрасывал с книжного шкапа газеты, вздымая облака пыли. Госпожа Бушар слегка закашлялась.

– Напрасно вы сидите в этой грязи, – сказал Ругон, просматривая папки, которые Делестан по его просьбе не трогал.

Но молодая женщина, раскрасневшись от кашля, заявила, что она чувствует себя здесь превосходно, а ее шляпа не боится пыли. Вся компания стала изливаться в соболезнованиях. Окружая себя людьми, столь мало достойными доверия, император попросту не заботится о благе страны. Франция понесла потерю. Впрочем, это обычная история: великие умы всегда вооружают против себя всякого рода посредственности.

– Правительства не умеют быть благодарными, – заявил Кан.

– Тем хуже для них, – добавил полковник. – Наноса удары своим слугам, они бьют самих себя.

Кану хотелось, чтобы последнее слово осталось за ним. Он повернулся к Ругону:

– Когда уходит в отставку такой человек, как вы, страна погружается в скорбь.

– Да, да, погружается в скорбь! – подхватили все.

Под градом грубых восхвалений Ругон поднял голову. Его землистые щеки запылали, лицо осветилось сдержанной улыбкой удовлетворения. Он кокетничал своей силой, как иная женщина кокетничает изяществом, и любил, чтобы лесть обрушивалась ему прямо на плечи, достаточно широкие, чтобы выдержать любую глыбу. Между тем становилось ясным, что друзья мешают друг другу; каждый исподтишка следил за соседом и, не желая при нем говорить, старался его выжить. Теперь, когда они, казалось, ублажили великого человека, им не терпелось вырвать у него благосклонное словечко. Первым решился полковник Жобэлен. Он увлек Ругона к окну, и тот, с папкой в руках, покорно последовал за ним.

– Вы не забыли про меня? – зашептал, любезно улыбаясь, полковник.

– Конечно, нет. Четыре дня тому назад мне обещали наградить вас орденом командора Почетного Легиона. Но вы сами понимаете, что сегодня я не могу ни за что поручиться. Признаться, я боюсь, как бы моя отставка не отразилась на моих друзьях.

Губы полковника дрогнули от волнения. Он забормотал, что надо бороться, что он сам примет участие в этой борьбе.

– Огюст! – внезапно повернувшись, выкрикнул он.

Мальчик сидел на корточках под столом, читая надписи на папках и изредка бросая алчные взгляды на маленькие башмачки госпожи Бушар. Он прибежал на зов отца.

– Вот мой мальчик, – вполголоса продолжал полковник. – Пройдет немного времени, и, вы сами понимаете, это дрянцо нужно будет пристроить. Я еще колеблюсь, что выбрать – карьеру судьи или чиновника... Огюст, пожми руку твоему доброму другу, чтобы он не забыл о тебе.

В это время госпожа Бушар, которая покусывала от нетерпения перчатку, встала и подошла к левому окну, взглядом подзывая д'Эскорайля. Муж уже был возле нее и, облокотившись о перила окна, разглядывал пейзаж. Напротив, в лучах теплого солнца, тихо шелестели огромные тюльрийские каштаны, а Сена между Королевским мостом и мостом Согласия катила синие воды, испещренные блестками света.

Госпожа Бушар вдруг повернулась и воскликнула:

– Идите сюда, господин Ругон, поглядите!

И когда Ругон, повинувшись зову, поспешно отошел от полковника, Дюпуаза, который последовал было за молодой женщиной, скромно ретировался и присоединился к стоявшему у среднего окна Кану.

– Взгляните, это судно с кирпичом чуть было не опрокинулось. – рассказывала госпожа Бушар.

Ругон продолжал любезно стоять возле нее на солнце, и тут д'Эскорайль, снова поймавший взгляд молодой женщины, оказал:

– Господин Бушар хочет подать в отставку. Мы пришли к вам, чтобы вы его образумили. Бушар заявил, что его возмущает несправедливость.

– Да, господин Ругон, я начал с того, что переписывал бумаги в Министерстве внутренних дел, и дослужился до должности столоначальника, не прибегая ни к покровительству, ни к интригам. Я работаю с 1847 года. И сами посудите: должность начальника отделения была уже пять раз свободна – четыре раза во времена Республики и раз во время Империи, – а министр так и не удосужился вспомнить обо мне, хотя за мной все права старшинства... Теперь вы уж не сможете выполнить данное мне обещание, я предпочитаю уйти в отставку.

Ругону пришлось его успокаивать. Место пока никем не занято, а если оно сейчас ускользнет – что ж! это будет просто упущенной возможностью, возможностью, которая, несомненно, повторится. Потом он взял госпожу Бушар за руки и начал поотечески осыпать ее комплиментами. Дом столоначальника был первым, гостеприимно раскрывшим перед Ругоном свои двери, когда тот приехал в Париж. Там он встретил полковника, приходившегося Бушару двоюродным братом. Позднее, когда Бушар получил наследство и воспылил жадой жениться,

Ругон выступил в качестве шафера госпожи Бушар, урожденной Адель Девинь, хорошо воспитанной девицы из почтенного семейства, которое проживало в Рамбулье. Столоначальник решил взять в жены провинциальную барышню, потому что был поборником семейной добродетельности. Белокурая, маленькая, очаровательная Адель, в чьих синих глазах светилось немного пресное простодушие, на четвертом году брака обзавелась третьим по счету любовником.

– Не расстраивайтесь, – говорил Ругон, сжимая в своих огромных лапах кисти ее рук. – Вы же знаете, для нас ваши желания – закон. Жюль на днях сообщит вам, как обстоят дела.

И, отведя в сторону д'Эскорайля, он рассказал о письме, которое утром написал его отцу, чтобы успокоить старика. Место аудитора должно было остаться за юношей. Д'Эскорайли принадлежали к одному из древнейших родов в Плассане и пользовались всеобщим почетом. Поэтому Ругону, ходившему некогда в стоптанных башмаках мимо особняка старого маркиза, казалось лестным оказать покровительство его сыну Жюлю. Благоговейно почитая Генриха V¹⁷, д'Эскорайли, тем не менее, не мешали сыну связать свою судьбу с судьбой Империи. Что поделать, такие уж черные настали времена!

Раскрыв среднее окно и отгородившись от всех, Кан и Дюпуаза беседовали, поглядывая на крыши Тюильрийского дворца, казавшиеся совсем голубыми в солнечной пыли. Стараясь протиснуться друг друга, друзья перекидывались замечаниями, затем снова надолго замолкали. Ругон слишком вспылывал. Ему не следовало терять выдержки из-за дела Родригеса, которое легко было уладить. Глядя куда-то вдаль, Кан словно про себя заметил:

– Мы всегда знаем, что падаем, а вот поднимемся ли – этого никогда знать нельзя.

Дюпуаза сделал вид, что не расслышал. Потом, после длинной паузы, заметил:

– Он человек сильный.

Тогда депутат, резким движением наклонившись к самому лицу Дюпуаза, быстро заговорил:

– Нет, говоря между нами, мне страшно за него. Он играет с огнем... Безусловно, мы его друзья, и не может быть речи о том, чтобы от него отвернуться. Но я настаиваю на том, что во время всей этой истории он совершенно не думал о нас. Взять хотя бы меня: в моих руках огромное выгодное дело, а он своей выходкой его скомпрометировал. И он не вправе сердиться на меня, если я постучусь в другие двери, не так ли? Ибо, в конечном счете, терплю убыток не я один, его терпит все население.

– Придется стучаться в другие двери, – с улыбкой повторил Дюпуаза.

Но Кана внезапно охватила злоба, и он проговорился.

– Да разве это возможно? Стоит лишь связаться с этим дьяволом, и от тебя все отворачиваются! Если принадлежишь к его клике, то у тебя клеймо на лбу.

Он успокоился, вздохнул и поглядел в сторону Триумфальной арки, которая сероватой каменной глыбой вздымалась над зеленой гладью Елисейских полей. Потом кротким голосом добавил:

– Да что говорить! Я верен друзьям, как собака. В это мгновение к ним сзади подошел полковник.

– Верность – это дорога чести, – отчеканил он по-военному.

Дюпуаза и Кан посторонились, давая ему место, и он продолжал:

– Сегодня Ругон взял на себя по отношению к нам обязательство. Он больше себе не принадлежит.

Это словцо имело огромный успех. Ну разумеется, он больше себе не принадлежит. Следует ему об этом сказать, чтобы он проникся сознанием долга. Все трое зашептались, сгова-

¹⁷ Этим именем легитимисты называли своего кандидата на престол графа Шамбор (1820—1883), главу старшей линии Бурбонов, внука короля Карла X, свергнутого Июльской революцией 1830 г.

риваясь о чем-то, вселяя друг в друга надежду. Порой они оборачивались, оглядывая огромный кабинет и проверяя, не завладел ли кто-нибудь вниманием великого человека на слишком долгое время.

А великий человек между тем перебирал папки, не переставая болтать с госпожой Бушар. Шарбоннели, молчаливо и конфузливо сидевшие в своем углу, начали пререкаться. Они уже два раза пытались заговорить с Ругоном, но того сперва похитил полковник, потом отозвала молодая женщина. Наконец, Шарбоннель подтолкнул к нему жену.

– Нынче утром мы получили письмо от вашей матушки, – пролепетала она.

Ругон не дал ей договорить. Без особого нетерпения, еще раз оставив папки, он сам увел Шарбоннелей в амбразуру правого окна.

– Мы получили письмо от вашей матушки, – повторила госпожа Шарбоннель.

Она собралась было прочесть его вслух, но Ругон, взяв у нее письмо, одним взглядом пробежал его. Шарбоннели, некогда торговавшие в Плассане оливковым маслом, находились под покровительством госпожи Фелисите – так величали мать Ругона в его родном городке. Она-то и направила их к сыну по поводу ходатайства, поданного ими в Государственный совет. Один из внучатных племянников Шарбоннелей, некто Шевассю, поверенный, проживавший в Фавроле, главном городе соседнего департамента, умер, завещав состояние в пятьсот тысяч франков общине женского монастыря св. семейства. Шарбоннели отнюдь не рассчитывали на это наследство, но когда умер брат Шевассю, они, внезапно оказавшись наследниками, подняли крик о незаконном присвоении имущества; а так как монастырская община стала хлопотать в Государственном совете о введении в права наследства, то Шарбоннели, бросив насиженное гнездо в Плассане, поспешили в Париж и поселились на улице Жакоб в гостинице Перигор для того, чтобы следить за ходом дела. Тянулось оно уже с полгода.

– Мы так опечалены, – вздыхала госпожа Шарбоннель, пока Ругон читал письмо. – Я раньше и слышать не хотела об этой тяжбе. Но господин Шарбоннель твердил, что при вашей поддержке деньги эти будут наши: стоит вам только слово сказать – и мы положим в карман полмиллиона франков. Так ведь вы говорили, господин Шарбоннель?

Бывший торговец скорбно закивал головой.

– Деньги-то ведь не маленькие, – продолжала жена. – Из-за такой суммы можно перевернуть вверх дном свою жизнь... Да, господин Ругон, вся наша жизнь перевернута! Вы только подумайте, вчера служанка в гостинице отказалась переменить нам грязные полотенца! А у меня-то в Плассане пять шкапов набиты бельем!

И она принялась горько жаловаться на ненавистный Париж. Они приехали сюда всего на одну неделю. Все время живя надеждой, что на следующей неделе уедут, они не выписали из Плассана никаких вещей. И хотя теперь их дело затягивалось до бесконечности, они упрямо продолжали жить в меблированной комнате, ели то, что служанке угодно было подать, обходились без белья, почти без одежды. У них не было с собой даже головной щетки, и госпожа Шарбоннель причесывалась сломанным гребнем. Иной раз они усаживались на чемоданчик и начинали плакать от усталости и злости.

– У нас в гостинице такие подозрительные постояльцы, – шептал Шарбоннель, стыдливо поглядывая на Ругона вытаращенными глазами. – Рядом с нами живет молодой человек. Приходится слышать такие вещи...

Ругон сложил письмо.

– Моя мать совершенно права, советуя вам запастись терпением, – сказал он. – Я со своей стороны могу только предложить вам набраться мужества... По-моему, у вас есть все основания выиграть тяжбу, но я теперь не у дел и ничего не могу обещать.

– Мы завтра же уедем из Парижа! – в порыве отчаяния воскликнула госпожа Шарбоннель.

Но как только у нее вырвался этот крик, она страшно побледнела. Шарбоннель пришлось подхватить ее. С минуту они глядели друг на друга, лишившись голоса, не в силах сдержать дрожание губ, с трудом подавляя желание плакать. Они ослабели, им было страшно, словно эти полмиллиона франков внезапно, у них на глазах, провалились сквозь землю.

– Вы имеете дело с сильным противником, – ласково продолжал Ругон. – Монсеньор Рошар, епископ Фаврольский, явился в Париж, чтобы поддержать ходатайство общины святого семейства. Не вмешайся он, вы давно выиграли бы процесс. К несчастью, духовенство сейчас очень могущественно... Но у меня остаются друзья в Совете, я рассчитываю, что сумею действовать, оставаясь в тени. Если вы, после столь долгого ожидания, все-таки уедете завтра...

– Мы останемся, мы останемся! – торопливо забормотала госпожа Шарбоннель. – Дорого нам обходится это наследство, господин Ругон!

Ругон поспешно вернулся к своим бумагам. Он с удовлетворением оглядел комнату, радуясь, что теперь уже никто не уведет его в оконную нишу: вся клика была сыта до отвала, несколько минут Ругон почти закончил работу. У него была своя манера веселиться, заключающаяся в том, что он грубо насмеялся над своими друзьями, мстя таким образом за их докучные приставания. В течение пятнадцати минут он был беспощаден к тем самым людям, жалобы которых выслушивал с такой снисходительностью. Он зашел так далеко и был так резок с хорошенькой госпожой Бушар, что у той на глаза навернулись слезы, хотя она по-прежнему продолжала улыбаться. Друзья, привыкшие к замашкам Ругона, смеялись. Они знали, что дела их обстоят особенно хорошо как раз в те самые часы, когда он пробует свою силу на их спинах.

В эту минуту кто-то осторожно постучал в дверь.

– Нет, нет, не открывайте! – крикнул Ругон Делестану, когда тот хотел подойти к двери. – Смеются они надо мной, что ли? У меня и так голова трещит.

Когда стук сделался настойчивей, он процедил сквозь зубы:

– Останься я здесь, с каким удовольствием выгнал бы я этого Мерля!

Стук прекратился. Но вдруг в углу кабинета распахнулась дверка, и, пятясь задом, в нее вплыла голубая шелковая юбка необъятных размеров. Эта юбка, очень светлая, изукрашенная бантами, задержалась на пороге комнаты; остального не было видно. Слащавый женский голос с кем-то оживленно разговаривал.

– Господин Ругон! – повернувшись наконец лицом, обратилась к нему дама, оказавшаяся госпожой Коррер. На ней была надета шляпка, отделанная охапкой роз. Ругон, направившийся было к дверке с яростно сжатыми кулаками, сдался без боя и любезно пожал руку новой гостье.

– Я спрашивала у Мерля, хорошо ли ему здесь, – сказала госпожа Коррер, лаская взором верзилу-курьера, с улыбкой вытянувшегося перед ней. – Вы довольны им, господин Ругон?

– Ну еще бы, – любезно ответил тот.

С лица Мерля не сходила блаженная улыбка; глаза его были прикованы к полной шее госпожи Коррер. Она, охорашиваясь, поправляла кудряшки на висках.

– Вот и прекрасно, мой милый, – снова заговорила она. – Когда я устраиваю кого-нибудь на службу, мне хочется, чтобы все были довольны. А если вам понадобится мой совет, заходите ко мне утром, вы знаете, от восьми до девяти. Ну, будьте паинькой.

И она вошла в кабинет, сказав Ругону:

– Никто не сравнится с бывшими военными.

Вцепившись в Ругона, она заставила его медленно пройти вдоль окон в другой конец комнаты. Она отчитала его за то, что он не впустил ее. Если бы Мерль не согласился открыть маленькую дверь, ей пришлось бы, по-видимому, остаться в передней? Между тем одному богу известно, как ей нужно повидаться с Ругоном! Не может же он просто уйти в отставку, не сообщив, в каком положении находятся ее просьбы! Она вытащила из кармана роскошную записную книжечку, переплетенную в розовый муар.

– Я только после завтрака прочла «Монитор». Сразу же заказала фиакр... Скажите, в каком положении дело госпожи Летюрк, вдовы капитана, которая просит о табачной лавке? Я обещала ей дать ответ на будущей неделе... А дело этой девушки – вы ее знаете – Эрмини Билькок, бывшей воспитанницы Сен-Дени, на которой обещает жениться офицер, ее соблазнитель, если какая-нибудь добрая душа даст за ней установленное приданое? Мы подумываем об императрице... А все мои дамы, – госпожа Шардон, госпожа Тетаньер, госпожа Жалагье, – по несколько месяцев ожидающие ответа?

Ругон миролюбиво отвечал, объясняя задержки, входя в мельчайшие подробности. Однако он дал понять госпоже Коррер, что ей уже нельзя больше рассчитывать на него в такой мере, как прежде. Тогда она разохалась. Она так любит оказывать услуги! Что с ней сделают все эти дамы? И она заговорила о своих собственных делах, прекрасно известных Ругону. Она повторила, что ее девичья фамилия Мартино, Мартино из Кулонжа, что она принадлежит к хорошему вандейскому семейству, насчитывающему не менее семи поколений нотариусов. Ясных объяснений, откуда у нее фамилия Коррер, она никогда не давала. В двадцать четыре года она удрала с подручным мясника после того, как целое лето встречалась с ним в каком-то амбаре. Отец полгода ходил убитый этим скандалом, чудовищным поступком, о котором до сих пор сплетничали в городе. С этого времени она жила в Париже и как бы перестала существовать для своей семьи. Раз десять госпожа Коррер писала брату, унаследовавшему контору отца, но ответа так и не добилась; она обвиняла в его молчании невестку, которая, по словам госпожи Коррер, «бегала за священниками и держала под башмаком этого дурака Мартино». Навязчивой идеей госпожи Коррер было вернуться, подобно Дюпуаза, в родные края и зажить там жизнью всеми уважаемой, состоятельной женщины.

– Неделю назад я опять писала туда, – продолжала рассказывать госпожа Коррер. – Бьюсь об заклад, что она бросает мои письма в печку. И все-таки, если Мартино умрет, ей придется распахнуть передо мной двери. Они бездетны, у меня есть права на имущество. Мартино на пятнадцать лет старше меня; я слышала, что у него подагра.

Потом, резко переменив тон, она сказала:

– Ну, довольно об этом. Пришло время работать на вас, не так ли, Эжен? И увидите, мы будем работать. Чтобы стать кое-чем, нам необходимо, чтобы вы были всем. Помните пятьдесят первый год?

Ругон улыбнулся. Когда она по-матерински пожала его руки, он наклонился и шепнул ей на ухо:

– Если увидите Жилькена, скажите, чтобы он образумился. Вы подумайте, когда на прошлой неделе его забрали в участок, он осмелился назвать меня, чтобы я его вызволил!

Госпожа Коррер обещала поговорить с Жилькеном, одним из бывших ее постояльцев, который снимал комнату в гостинице Ванно еще во времена Ругона. Человек он был при случае неопределимый, но компрометирующего и непристойного поведения.

– Внизу меня ожидает фиакр, я улечу, – громко сказала госпожа Коррер, с улыбкой выходя на середину кабинета.

Однако она осталась еще на несколько минут, желая уйти вместе со всеми. Чтобы ускорить их уход, она даже вызвалась подвезти кого-нибудь в фиакре. На ее предложение откликнулся полковник, причем решили, что Огюст сядет на козлы рядом с кучером. Начался всеобщий обмен рукопожатиями. Ругон стоял у раскрытой настежь двери. Проходя мимо него, каждый гость сказал на прощание несколько соболезнующих слов. Кан, Дюпуаза и полковник, вплотную придвинувшись к Ругону, попросили не забывать о них. Шарбоннели начали уже спускаться с лестницы, госпожа Коррер болтала в углу передней с Мерлем, но госпожа Бушар, которую поодаль ожидали муж и д'Эскорайль, все еще мешкала возле Ругона, очень мило и учтиво спрашивая, в котором часу его можно застать одного на улице Марбеф, ибо она совер-

шенно глупеет в присутствии посторонних. Услышав этот разговор, полковник тоже подошел; его примеру последовали остальные, и все снова вернулись в кабинет.

– Мы все придем навестить вас! – воскликнул полковник.

– Вам не следует жить отшельником, – раздался голоса.

Кан жестом потребовал молчания.

– Вы принадлежите не себе, а вашим друзьям и Франции, – произнес он понравившуюся всем фразу.

Наконец все ушли. Ругон мог теперь закрыть двери. Он шумно, с облегчением вздохнул. Тогда позабытый им Делестан вылез из-за груды папок, под прикрытием которых он, в качестве добросовестного друга, заканчивал разборку бумаг. Он даже гордился своим усердием. Пока другие болтали, он делал дело. Вот почему он искренне обрадовался горячей благодарности великого человека. Только Делестан умеет оказывать услуги; у него методичный ум, он понимает, как взяться за работу, с такими данными он далеко пойдет. Ругон наговорил ему еще много лестного, хотя было неясно, не кроется ли за его словами издевка. Потом он осмотрелся, заглянул во все углы.

– Ну, кажется, вашими стараниями все закончено. Остается только приказать Мерлю переправить эти пакеты ко мне на дом.

Он позвал Мерля и указал ему пакеты, которые следовало унести. На все его объяснения курьер отвечал:

– Слушаю, господин председатель.

– Болван! – закричал наконец обозленный Ругон. – Не смейте называть меня председателем, ведь я больше не председатель.

Мерль отвесил поклон, сделал шаг к двери и в нерешительности остановился. Потом он вернулся и сказал:

– Там внизу вас спрашивает дама на лошади. Она со смехом заявила, что охотно въехала бы наверх, да лестница узкая. Она желает пожать вам руку.

Ругон сжал было кулаки, полагая, что это шутка. Но Делестан, не поленившийся выглянуть в окно на лестнице, прибежал и взволнованно сообщил:

– Мадмуазель Клоринда!

Тогда Ругон велел передать, что немедленно выйдет. Они с Делестаном взяли шляпы, и великий человек, пораженный волнением своего друга, хмуро и подозрительно посмотрел на него.

– Остерегайтесь женщин, – повторил он.

Стоя на пороге, он в последний раз оглядел кабинет. Сквозь три незакрытых окна вливался полуденный свет, безжалостно озаряя выпотрошенные шкапы, разбросанные ящики, связанные и нагроможденные посредине ковра пакеты. Кабинет казался большим и унылым. В камине от груды бумаг, сжигавшихся целыми охапками, осталась куча черного пепла. Ругон захлопнул дверь; свеча, забытая на углу стола, погасла, и в тишине опустелой комнаты раздался треск лопнувшей хрустальной розетки.

III

Иногда, часа в четыре дня, Ругон заходил ненадолго навестить графиню Бальби. Он являлся по-соседски, пешком. Графиня жила неподалеку от улицы Марбеф, в особнячке на бульваре Елисейских полей. Застать ее было нелегко; если же она оказывалась случайно дома, то обычно лежала в постели и передавала свое сожаление о том, что не может выйти. Тем не менее на лестнице особнячка всегда стоял шум от громких голосов посетителей, а двери гостиных непрестанно хлопали. Дочь графини – Клоринда принимала в галерее, большие окна которой выходили на бульвар и придавали ей сходство со студией художника.

В течение трех последних месяцев Ругон с резкостью целомудренного человека недружелюбно отвергал авансы обеих дам, представленных ему на балу в Министерстве иностранных дел. Они встречались ему повсюду, приветливо улыбаясь, причем мать обычно молчала, а дочь говорила громко и заглядывала ему прямо в глаза. Ругон держался стойко, уклонялся, делал вид, что не замечает этих уловок, отказывался от постоянных приглашений. Потом, преследуемый, осаждаемый даже в собственном доме, мимо окон которого Клоринда нарочно проезжала верхом, он, прежде чем пойти к ним, благоразумно решил навести справки.

В итальянском посольстве о графине Бальби и ее дочери отзывались вполне благоприятно: граф Бальби действительно существовал; у графини сохранились большие связи в Турине; наконец, дочь чуть было не вышла замуж в прошлом году за какого-то немецкого князька. Но от герцогини Санкирино, к которой потом обратился Ругон, он получил сведения иного рода. Там его заверили, что Клоринда родилась два года спустя после смерти графа; да и вообще о чете Бальби ходили весьма путанные слухи, ибо у мужа и у жены было множество похождений и поводов для взаимных обид: они официально развелись во Франции, примирились в Италии, после чего стали жить в своеобразном незаконном браке. Юный атташе посольства, хорошо осведомленный обо всем, что происходило при дворе Виктора-Эммануила¹⁸, был еще более резок: он утверждал, что если графиня и пользуется влиянием в Италии, то лишь благодаря старинной связи с одной очень высокой особой, и дал понять, что она вынуждена была покинуть Турин вследствие крупного скандала, о котором он не имел права распространяться. Ругон, все сильнее увлекаясь этими попытками доискаться до правды, заглянул даже в полицию, но и там не выведal ничего определенного: в личных делах обеих иностранок было отмечено только, что они живут на широкую ногу, хотя крупного состояния за ними не числится. Обе они утверждали, что у них есть земли в Пьемонте. Было известно, что порою в их роскошной жизни случались какие-то провалы; тогда они вдруг исчезали, но вскоре опять появлялись в новом блеске. Короче говоря, о них ничего не знали, да и предпочитали не знать. Они были приняты в лучшем обществе, а дом их почитался нейтральной территорией, где Клоринде, как своеобразному экзотическому цветку, прощались все ее выходки. Ругон решил побывать у этих дам.

После третьего визита любопытство великого человека еще более усилилось. Разгорался он медленно, увлечь его было нелегко. К Клоринде его влекло вначале ощущение неизвестного – ее прошлая жизнь и эта навязчивая жажда будущего, которую он угадывал в ее широко раскрытых глазах молодой богини. Он наслушался отвратительных сплетен о ней – о первой слабости к кучеру, затем о сделке с банкиром, который выложил деньги за несуществующую невинность девицы из особнячка на Елисейских полях. Но бывали часы, когда она казалась ему совсем ребенком, и он начинал сомневаться во всем, давая себе слово вырвать у нее исповедь, возвращаясь к ней снова, чтобы понять эту странную девушку, живую загадку, которая под конец стала волновать его не меньше какой-нибудь хитроумной проблемы из области высокой

¹⁸ Виктор-Эммануил II Савойский (1820—1878) – с 1849 г. король Сардинии, с 1861 г. – король Италии.

политики. До сих пор он пренебрежительно относился к женщинам, и первая, с которой ему пришлось столкнуться, оказалась, несомненно, одним из самых сложных механизмов на свете.

На другой день после того, как Клоринда, верхом на взятой напрокат лошади, приехала к дверям Государственного совета пожать в знак соболезнования руку Ругону, он, исполняя торжественно данное девушке обещание, отправился к ней с визитом. Она собиралась, по ее словам, показать ему нечто такое, что должно было рассеять его дурное настроение. Ругон в шутку назвал Клоринду «своею слабостью» и охотно засиживался у нее: она умела позабавить его, польстить самолюбию, заставляла все время держаться начеку, тем более что он еще только начинал разгадывать ее – занятие, в котором преуспел не больше, чем в первый день знакомства. Сворачивая с улицы Марбеф, Ругон мельком взглянул на улицу Колизея, где жил в своем особняке Делестан: ему несколько раз казалось, что сквозь притворенные ставни кабинета он видел лицо хозяина, заглядывавшего через улицу в окна Клоринды. Нэ ставни были закрыты, ибо Делестан уехал с утра на свою образцовую ферму в Шамаде.

Двери особняка Бальби всегда были настежь открыты. У лестницы Ругон встретил маленькую смуглую женщину, растрепанную, в желтом рваном платье; она грызла апельсин, как яблоко.

– Ваша хозяйка дома, Антония? – спросил он у женщины.

Она не могла ответить, потому что рот у нее был набит, но засмеялась и энергично кивнула головой. Губы ее лоснились от апельсинового сока. Она щурила узкие глазки, казавшиеся на темном лице каплями чернил.

Привыкнув к небрежным порядкам этого дома, Ругон стал подниматься по лестнице. По пути он натолкнулся на чернобородого верзилу-лакея, похожего на бандита, который спокойно взглянул на него и даже не посторонился. На площадке второго этажа, где не было ни души, он увидел три открытых двери. Левая вела в спальню Клоринды. Подстрекаемый любопытством, Ругон заглянул туда. Хотя было уже четыре часа, комнату еще не прибрали; стоявшая перед кроватью ширма наполовину скрывала свесившиеся простыни; на ширме просыхали снятые накануне нижние юбки, забрызганные снизу грязью. Перед окном на полу стоял таз с мыльной водой; серый кот Клоринды, свернувшись клубком, спал на ворохе одежды. Клоринда обычно проводила время в третьем этаже, в той галерее, которая последовательно служила ей студией, курительной комнатой, теплицей и летней гостиной. По мере того как Ругон поднимался, все слышней становился гул голосов, пронзительный смех, шум опрокидываемой мебели. Когда он подошел к самой двери, из общего гама выделились звуки расстроенного пианино и чье-то пение. Ругон дважды постучал, но ответа не последовало. Тогда он решился войти.

– Bravo! Bravo! Вот и он! – захлопала в ладоши Клоринда.

Хотя Ругона нелегко было смутить, однако он замаялся и на секунду остановился у порога. Папский посол – кавалер Рускони, красивый брюнет, умевший, когда требовалось, быть искусным дипломатом, – сидел за дряхлым пианино и яростно колотил по клавишам, стараясь извлечь не очень дребезжащие звуки. Посреди комнаты, нежно обхватив руками спинку стула, вальсировал депутат Ла Рукет; он так увлекся танцем, что опрокинул все кресла. А в одной из оконных ниш, напротив юноши, который рисовал углем по холсту, на столе в позе Дианы-охотницы стояла Клоринда, залитая ярким светом, с невозмутимым видом выставляя напоказ обнаженные бедра, руки и грудь – всю себя. На кушетке, скрестив вытянутые ноги и сосредоточенно покуривая толстые сигары, сидели трое мужчин и молча глядели на девушку.

– Погодите, не двигайтесь! – крикнул Рускони Клоринде, которая хотела было соскочить со стола. – Я сейчас всех представлю друг другу.

Он повел за собою Ругона и шутливо сказал, проходя мимо Ла Рукета, который, задыхаясь, упал в кресло:

– Господин Ла Рукет, вы с ним знакомы. Будущий министр.

Подойдя к художнику, он заметил:

– Господин Луиджи Поццо, мой секретарь. Дипломат, художник, музыкант, влюбленный.

О трех мужчинах на кушетке он позабыл. Оглянувшись и заметив их, он настроился на серьезный лад и, склонившись, официальным тоном произнес:

– Господин Брамбилла, господин Стадерино, господин Вискарди, политические эмигранты.

Венецианцы поклонились, не выпуская сигар изо рта. Рускони хотел снова подойти к пианино, но Клоринда резко заметила ему, что он – скверный церемониймейстер. И, указав на Ругона, она с особенной, весьма лестной для него интонацией, коротко объявила:

– Господин Эжен Ругон.

Все опять обменялись поклонами. Ругон, опасавшийся вначале какой-нибудь неловкой шутки, был поражен тактом и достоинством этой длинноногой девушки, чью наготу едва скрывала газовая туника. Он сел и, как обычно, осведомился о здоровье графини Бальби; Ругон всякий раз старался подчеркнуть, что приходит к матери, – этого, по его мнению, требовало приличие.

– Я был бы счастлив приветствовать ее, – добавил он слова, заготовленные для подобных случаев.

– Да ведь мама тут! – и Клоринда кончиком золоченого лука показала куда-то в угол.

Графиня действительно сидела там, откинувшись в глубоком кресле, скрытая мебелью. Удивление было всеобщим. Политические эмигранты, видимо, тоже не подозревали о ее присутствии; они встали и поклонились. Ругон подошел поздороваться с графиней. Он стоял возле нее, а она, как всегда полулежа в кресле, односложно отвечала ему, улыбаясь своей вечной улыбкой, не сходявшей с ее губ, даже когда она бывала больна. Потом графиня умолкла, думая о чем-то своем, поглядывая на бульвар, по которому катился поток экипажей. Она устроилась в этом уголке, очевидно, для того, чтобы следить за уличным движением. Ругон отошел.

Между тем Рускони снова уселся за пианино; тихонько касаясь клавиш и подбирая мелодию, он вполголоса пел итальянскую песню. Ла Рукет обмахивался платком. Клоринда, очень серьезная, стала в прежнюю позу. Ругон медленно прохаживался взад и вперед, оглядывая комнату, в которой вдруг наступила тишина. Галерея была заставлена самыми неожиданными вещами; мебель – конторка, сундук, несколько столов, – выдвинутая на середину, образовала целый лабиринт узких тропинок; загнанные в глубину галереи, тесно сдвинутые тепличные растения задыхались, свесив зеленые лапчатые листья, порывшиеся раньше времени; в другом ее конце, среди груды высохшей глины, можно было различить обломки рук и ног той статуи, которую начала было лепить Клоринда, когда ее вдруг осенила мысль стать скульптором. В огромной галерее свободным осталось лишь небольшое пространство перед одним из окон – незаполненный квадрат, превращенный с помощью двух кушеток и трех разрозненных кресел в своего рода гостиную.

– Можете курить, – сказала Клоринда Ругону.

Он поблагодарил: он никогда не курит. Не оборачиваясь, Клоринда крикнула:

– Господин Рускони, скрутите мне сигарету. Табак, должно быть, около вас, на пианино. Рускони занялся скручиванием сигареты; в комнате снова наступило молчание.

Ругон, недовольный тем, что застал здесь такое многочисленное общество, решил откланяться. Он все же подошел к Клоринде и, подняв к ней голову, улыбаясь, спросил:

– Вы, кажется, просили меня зайти, чтобы показать мне что-то?

Она ответила не сразу, сохраняя важность, поглощенная своей позой. Ругону пришлось повторить:

– Что же вы хотели мне показать?

– Себя! – ответила она.

Она сказала это властным голосом, без единого жеста, застыв на столе в позе богини. Ругон, тоже сделавшись серьезным, отступил на шаг и не спеша оглядел ее. В ней, действи-

тельно, все было великолепно – и чистый профиль, и линия стройной шеи, мягко спускавшаяся к плечам. Но особенно хорош был ее царственный стан. Округлые руки и ноги сверкали, словно изваянные из мрамора. Немного выдвинутое вперед левое бедро придавало легкий изгиб всему телу; она стояла, подняв правую руку, открывая от подмышки до пятки длинную линию, мощную и гибкую, вогнутую у талии, выпуклую у бедра. Левой рукой она опиралась на лук со спокойной уверенностью античной охотницы, которая не замечает своей наготы, презирает мужскую любовь, – холодная, высокомерная, бессмертная.

– Очень мило, очень мило! – не зная, что сказать, пробормотал Ругон.

На самом же деле скульптурная невозмутимость Клоринды его смущала. Она казалась такой победоносной, такой уверенной в своей классической красоте, что, имея он побольше смелости, он начал бы критиковать ее как статую, чьи мощные формы претили его буржуазному вкусу. Ругон предпочел бы более тонкую талию, менее широкие бедра, выше посаженную грудь. Потом им овладело грубое желание схватить ее за икру. Ему пришлось отойти от стола, чтобы овладеть собою.

– Вы как следует разглядели? – спросила Клоринда, по-прежнему серьезная и безмятежная. – А теперь я покажу вам другое.

И вдруг она перестала быть Дианой. Лук был отброшен, и она превратилась в Венеру. Закинув руки назад и скрестив их на затылке, откинувшись так, что груди ее поднялись, она улыбалась, полуоткрыв губы, задумчиво глядя вдаль, и лицо ее как бы купалось в солнечном свете. Она стала меньше ростом, она округлилась, ее словно озолотил луч желания, и горячие волны его пробегали, казалось, по атласистой коже. Сжавшись в клубок, предлагая себя, стараясь зажечь страсть, она была воплощением покорной любовницы, жаждущей, чтобы ее всю целиком заключили в объятия.

Брамбилла, Стадерино и Вискарди, сохраняя мрачную неподвижность заговорщиков, серьезно заплотировали:

– Браво! Браво! Браво!

Ла Рукет неистовствовал от восторга; Рускони, подошедший к столу подать девушке сигарету, так и остался на месте, с томным видом покачивая головой, словно отбивая ритм своего восхищения.

Ругон ничего не сказал. Он так стиснул руки, что они хрустнули. По его телу пробежал трепет. Он снова сел в кресло, забыв о том, что собирался уходить. Но Клоринда приняла уже прежнюю свободную, величественную позу и громко смеялась, пуская дым, вызывающе вытягивая губы. Она говорила, что ей очень хотелось бы стать актрисой: она сумела бы передать все – гнев, нежность, стыд, испуг. Одним движением, простой игрой лица она тут же изображала эти чувства.

– Хотите, господин Ругон, я покажу, как вы выступаете в Палате? – внезапно спросила она.

Клоринда надулась и, выпятив грудь, начала задыхаться и выбрасывать вперед кулаки с такой забавной и верной в своем преувеличении мимикой, что все покатились со смеху. Ругон хохотал, как ребенок; он находил Клоринду очаровательной, остроумной и очень волнующей.

– Клоринда! Клоринда! – запротестовал Луиджи, постукивая муштабелем по мольберту.

Она так вертелась, что художник совсем не мог работать. Он отложил в сторону уголь и с прилежанием школьника накладывал на холст тонкие слои красок. Среди всеобщего веселья он один не смеялся, поглядывая огненными глазами на девушку и бросая грозные взгляды на мужчин, с которыми она шутила. Это ему пришла мысль написать ее портрет в том костюме Дианы-охотницы, о котором после бала в посольстве заговорил весь Париж. Луиджи величал себя кузеном Клоринды потому, что они родились на одной и той же улице во Флоренции.

– Клоринда! – сердито повторил он:

– Луиджи прав, – сказала она. – Вы ведете себя несерьезно, господа; вы подняли страшный шум! За работу!

И она снова приняла позу богини, опять превратилась в прекрасную статую. Мужчины застыли на своих местах, словно пригвожденные. Один Ла Рукет осмелился тихонько, кончиками пальцев, отбивать на ручке кресла барабанную дробь. Ругон откинулся назад и глядел на Клоринду, все более погружаясь в задумчивость, охваченный мыслями, в которых образ молодой девушки вырастал до грандиозных размеров. Женщина все-таки удивительный механизм. Никогда раньше ему не приходило в голову ее изучать. Теперь у него появилось предчувствие каких-то необыкновенных осложнений. На одно мгновение он ясно ощутил могущество этих обнаженных плеч, способных потрясти мир. В его затуманенных глазах Клоринда становилась все выше и выше, пока, словно гигантская статуя, не заслонила собою окно. Но Ругон поморгал глазами и увидел, что по сравнению с ним она совсем маленькая, хотя и стоит на столе. Тогда он улыбнулся. При желании ему ничего не стоило бы отшлепать ее, как девчонку; и он внутренне удивился, как она могла хотя бы на минуту внушить ему страх.

В это время с другого конца галереи донеслись звуки каких-то голосов. Ругон по привычке насторожился, но различил лишь быструю и невнятную итальянскую речь. Рускони пробрался через заграждения из мебели и, опершись рукой о спинку кресла графини, в почтительной позе ей о чем-то пространно рассказывал. Графиня ограничивалась кивками головы. Один раз, однако, она сделала в знак несогласия резкое движение, и Рускони, склонившись к ней, стал успокаивать ее голосом певучим, как щебетание птицы. Благодаря знанию провансальского языка Ругону все же удалось уловить несколько слов, заставивших его нахмуриться.

– Мама! – неожиданно воскликнула Клоринда. – Ты показала господину Рускони вчерашнюю депешу?

– Депешу? – громко переспросил дипломат.

Графиня вытащила из кармана пачку писем и долго ее разбирала. Наконец она протянула ему клочок измятой синей бумаги. Он прочел и сделал удивленно-негодующий жест.

– Как! – воскликнул он по-французски, позабыв, что тут есть посторонние. – Вы знали это уже вчера, а я был извещен только сегодня утром!

Клоринда весело засмеялась, и это окончательно его рассердило.

– Я все в подробностях докладываю графине, а она молчит, словно ничего не знает! Ну что ж, раз наше посольство помещается здесь, я буду ежедневно приходить к вам для разборки почты.

Графиня улыбнулась. Она снова порылась в пачке писем, вытащила вторую бумажку и подала Рускони. На этот раз он, по-видимому, был очень доволен. Тихая беседа возобновилась. К послу снова вернулась почтительная улыбка. Отходя от графини, он поцеловал ей руку.

– Ну, с серьезными делами покончено, – сказал он и опять уселся за пианино.

Он начал что было сил барабанить разухабистое рондо, очень модное в то время. Потом, взглянув на часы, сразу схватился за шляпу.

– Вы уходите? – спросила Клоринда.

Она жестом подозвала его и, коснувшись его плеча, стала говорить ему на ухо. Он кивал головой, смеялся и повторял:

– Великолепно! Великолепно! Я напишу туда об этом.

Сделав общий поклон, он вышел. Луиджи подал муштабелем знак, и Клоринда, присевшая было на стол, снова выпрямилась.

Поток экипажей, катившийся по бульвару, очевидно, наскучил графине, и как только карета Рускони скрылась из виду, затерявшись среди ландо, которые возвращались из Булонского леса, она протянула руку и дернула за шнур звонка. Вошел слуга с лицом бандита, не прикрыв за собою дверей. Графиня, опираясь на его руку, медленно проплыла через комнату

мимо мужчин, которые встали и поклонились. Она со своей вечной улыбкой кивала им в ответ. На пороге она обернулась к Клоринде:

– У меня опять мигрень, я хочу прилечь.

– Фламинио! – крикнула девушка слуге, уведившему ее мать. – Приложите ей к ногам горячий утюг.

Политические эмигранты больше не садились. Выстроившись в ряд, они еще немного постояли, докуривая сигары, затем все трое одинаковым, точным и сдержанным, движением бросили их в угол, за кучу глины. Проследовав мимо Клоринды, они вышли, шагая один за другим.

– Боже мой, я отлично понимаю, как важна сахарная проблема, – разглагольствовал Ла Рукет, затеявший умный разговор с Ругоном. – Речь идет о целой отрасли французской промышленности. Несчастье в том, что, насколько мне известно, никто в Палате не изучал этого вопроса как следует.

Ругон, которому он надоел, вместо ответа только слегка наклонял голову. Молодой депутат подошел к нему вплотную и с выражением важности на кукольном лице продолжал:

– У меня дядюшка сахарозаводчик. Его сахарный завод – один из крупнейших в Марселе. Я поехал туда и провел у него три месяца. Я там делал записи, множество записей. Говорил с рабочими – словом, знакомился с делом. Я, знаете, хотел выступить в Палате...

Он рисовался и лез из кожи вон, стараясь поддержать разговор о вещах, которые, по его мнению, очень интересовали Ругона; к тому же ему во что бы то ни стало хотелось казаться серьезным политическим деятелем.

– Но вы не выступили? – перебила Ла Рукета Клоринда, которую его присутствие, видимо, раздражало.

– Нет, не выступил, – медленно ответил тот. – Я счел это невозможным. В последний момент я усомнился в точности моих цифр.

Пристально поглядев на Ла Рукета, Ругон с глубокомысленным видом спросил:

– Вам известно, сколько кусков сахара ежедневно расходуется в Английском кафе?

Ла Рукет вначале опешил и выпучил глаза. Потом, расхотавшись, закричал:

– Чудесно! Чудесно! Я понимаю, вы шутите... Но ведь это вопрос о сахаре, а я говорил о производстве сахара... Чудесно! Вы позволите мне повторить вашу остроуту?

Он даже слегка подпрыгивал в кресле от удовольствия. Почувствовав себя в своей тарелке, он порозовел и стал подыскивать забавные словечки. Тогда Клоринда решила донять его женщи-нами. Она встретила его третьего дня в театре Варьете с белобрысой дурнушкой, взлохмаченной, как болонка. Сперва Ла Рукет отпирался. Потом, задетый беспощадным вышучиванием «маленькой болонки», он вышел из себя и начал защищать свою даму, вполне порядочную особу и не такую уж некрасивую. Он распространялся о ее волосах, фигуре и ножках. Клоринда ожесточилась. Кончилось тем, что Ла Рукет крикнул:

– Она ждет меня, я ухожу!

Когда за ним закрылась дверь, молодая девушка торжествующе захлопала в ладоши и сказала:

– Наконец-то ушел, – счастливого пути!

Резво соскочив со стола, она подбежала к Ругону и протянула ему обе руки. Сделавшись необычайно кроткой, она стала говорить о том, как ей жаль, что он застал ее не одну. До чего ей было трудно всех выпроводить! Люди, видно, ничего не понимают. Этот Ла Рукет со своей сахарной промышленностью – ну, не глупец ли? Но теперь им уж никто не помешает, они смогут поболтать. Ей нужно многое ему сказать! С этими словами она подвела его к кушетке. Ругон сел, не выпуская ее рук, но Луиджи стал вдруг отрывисто постукивать муштабелем.

– Клоринда! Кло-ринда! – повторял он недовольным тоном.

– А ведь правда, портрет! – засмеялась Клоринда.

Ускользнув от Ругона, она гибким и ласковым движением склонилась над художником. О, как хорошо нарисовано! У него прекрасно получается. Но говоря по совести, она немного устала, ей нужно четверть часика отдохнуть. Пока что он может рисовать костюм; для костюма ей не нужно позировать. Луиджи, бросив сверкающий взгляд на Ругона, продолжал что-то бормотать. Тогда она быстро заговорила с ним по-итальянски, нахмутив брови, но продолжая улыбаться. Луиджи замолчал и стал снова легко водить кистью.

– Я правду говорю, – сказала Клоринда, опять подсаживаясь к Ругону. – У меня совсем затекла левая нога.

Она похлопала себя по левой ноге, чтобы усилить кровообращение. Колени ее розовели сквозь газ. Она, видимо, забыла про свою наготу и, с серьезным видом наклонившись к Ругону, царапала свое плечо о грубое сукно сюртука; от неожиданного прикосновения пуговицы по груди ее пробежала дрожь. Она оглядела себя и залилась румянцем. Быстро схватив кусок черных кружев, Клоринда закуталась в них.

– Я немного озябла, – сказала она, подкатив к себе кресло и усаживаясь в него.

Теперь из-под кружев виднелись одни обнаженные кисти ее рук. Повязав себе шею кружевами, словно огромным галстуком, она уткнулась в него подбородком. Черное покрывало окутало ее грудь, лицо снова сделалось бледным и сосредоточенным.

– Что же такое с вами случилось? – спросила она. – Расскажите мне все.

С чистосердечным любопытством дочери она начала выпытывать у него причины его отставки. Ссылаясь на то, что она иностранка, Клоринда по три раза заставляла Ругона объяснять непонятные, по ее словам, подробности. Она прерывала Ругона итальянскими восклицаниями, и в ее черных глазах отражалось волнение, вызванное его рассказом. Зачем он поссорился с императором? Как он мог отказаться от своего высокого поста? Кто такие его враги, которым он позволил победить себя? И когда Ругон начинал колебаться, чувствуя, что его толкают на признание, которого он не желал бы делать, она глядела на него с простодушной нежностью, и он переставал следить за собой, выкладывая все до конца. Вскоре Клоринда узнала, по-видимому, то, чего ей хотелось. Потом она задала еще несколько вопросов, совершенно не связанных с разговором и таких неожиданных, что Ругон был искренне удивлен. Наконец, стиснув руки, она умолкла. Глаза ее были закрыты. Она погрузилась в глубокое раздумье.

– Что с вами? – улыбаясь, спросил Ругон.

– Ничего, – уронила Клоринда. – Мне жаль.

Ругон был тронут. Он попытался взять ее за руки, но она спрятала их в кружева, и молчание возобновилось. Спустя несколько минут она открыла глаза и спросила:

– Какие же у вас планы?

Он пристально посмотрел на нее. Его кольнуло легкое подозрение. Но Клоринда, томно откинувшаяся в кресле с таким видом, будто огорчения «доброго друга» надломили ее, была так очаровательна, что он не обратил внимания на холодок, пробежавший у него по спине. Клоринда наговорила Ругону много лестного. Он, без сомнения, недолго пробудет в тени, придет день – и он снова станет хозяином положения. На его лице написано, что он верит в свою звезду и вынашивает какие-то великие замыслы. Почему он не делает ее своею наперсницей? Она умеет молчать и будет счастлива принять участие в устройстве его судьбы. Ругон, точно в опьянении, все время пытался схватить руки, прятавшиеся от него в кружевах, и говорил, говорил без конца, пока не высказал всех надежд, всех достоверных расчетов. Клоринда больше ни о чем не спрашивала, давая ему выговориться, боясь вспугнуть его неосторожным жестом. Она разглядывала Ругона, внимательно изучала его, измеряя объем черепа, силу плеч, ширину груди. Да, на этого человека можно положиться, и, как ни сильна она сама, ему ничего не стоило бы одним движением руки посадить ее к себе на спину и без всякого усилия вознести на ту вершину, на которую она укажет.

– Мой добрый друг! – внезапно воскликнула она. – Я-то никогда в вас не сомневалась!

Клоринда поднялась, вскинула руки, и кружева упали. Она предстала глазам Ругона еще более обнаженная, чем прежде. Изогнувшись, как влюбленная кошка, она выпрямила грудь и высвободила из газа плечи таким гибким движением, что казалось, с нее сейчас упадет корсаж. Зрелище было мгновенным, словно Клоринда благодарила Ругона и что-то ему обещала. А может быть, кружево просто-напросто соскользнуло? Она уже подняла его и еще плотнее закуталась.

– Тише! – шепнула она. – Луиджи сердится.

Подбежав к художнику, Клоринда низко наклонилась к нему и быстро о чем-то заговорила. Теперь, когда Ругон не ощущал возле себя ее натянутого, как струна, тела, он с ожесточением потер руки, возбужденный, почти разгневанный. От ее близости его словно охватывал озноб. Он мысленно поносил Клоринду. В двадцать лет он и то не повел бы себя так глупо! Она, как из ребенка, вытянула из него признания, – из него, который два месяца пытался заставить ее рассказать о себе и добился одних лишь веселых смешков. Стоило ей на мгновение отнять свои руки – и он настолько забылся, что рассказал ей все, лишь бы только она их вновь ему протянула. Теперь уже не могло быть сомнений; она старалась его победить; она взвешивала, стоит ли он того, чтобы его соблазнять. Ругон улыбнулся, как может улыбаться только сильный человек. Если он захочет, он сломит ее. Не сама ли она толкала его на это? В его мозгу зародились нечистые мысли, целый план, как соблазнить ее, стать властелином и потом бросить. Не мог же он, на самом деле, разыгрывать роль глупца с этой длинноногой девчонкой, которая откровенно показывает ему плечи. И все-таки он не был уверен; ведь кружево могло соскользнуть случайно.

– Как вы находите, у меня серые глаза? – спросила Клоринда, подходя к нему.

Он поднялся с кушетки и, почти вплотную приблизившись к девушке, заглянул ей в глаза, но не нарушил их ясного спокойствия. А когда он потянулся к ней, она ударила его по рукам. Не к чему ее трогать. Теперь Клоринда была очень холодна. Она куталась в свой платок со стыдливостью, которую пугала малейшая дырочка в кружевах. Ругон и смеялся над ней, и дразнил, и делал вид, что собирается пустить в ход силу, но она только плотнее натягивала ткань и вскрикивала всякий раз, когда он до нее дотрагивался. Сидеть она тоже больше не желала.

– Лучше пройдемся немного, – сказала она. – Хочу поразмять ноги.

Ругон последовал за ней, и они стали разгуливать по галерее. Теперь уже он пытался что-нибудь у нее выведать. Но Клоринда, как правило, не отвечала на вопросы. Она болтала, перескакивая с предмета на предмет, прерывая себя восклицаниями, начиная рассказ и никогда не кончая начатого. Когда Ругон ловко навел разговор на двухнедельную отлучку Клоринды и ее матери в прошлом месяце, она пустилась в бесконечные рассказы о своих путешествиях. Она побывала всюду – в Англии, в Испании, в Германии – и видела все на свете. Потом посыпался целый град совершенно детских, пустых замечаний о еде, модах и климате этих стран. Иногда она начинала говорить о событиях, в которых ей пришлось принять участие наряду с известными людьми, имена которых она называла. Ругон настораживал уши, думая, что она проговорится, но рассказ либо кончался вздором, либо вообще не имел конца. На этот раз ему тоже не удалось ничего разузнать. Постоянная улыбка, как маска, скрывала лицо Клоринды. Несмотря на шумную болтливость, девушка оставалась непроницаемой. Ругон, ошеломленный ее поразительными рассказами, противоречившими друг другу, перестал даже понимать, кто же перед ним находится – двенадцатилетняя ли девочка, наивная до глупости, или умудренная опытом женщина, очень тонко игравшая в простодушие.

Вдруг Клоринда прервала рассказ о приключении, случившемся с ней где-то в Испании, – о любезности одного путешественника, на кровати которого она вынуждена была расположиться, в то время как он устроился в кресле.

– Не показывайтесь в Тюильри, – сказала она без всякой связи с предыдущим. – Пусть о вас пожалеют.

– Благодарю вас, мадмуазель Макиавелли, – со смехом заметил Ругон.

Клоринда рассмеялась еще громче, чем он. Тем не менее она продолжала давать ему весьма разумные советы. А когда он позволил себе в шутку ущипнуть ее за руку, она рассердилась, воскликнув, что с ним и двух минут нельзя говорить серьезно. Ах, будь она мужчиной, она сумела бы проложить себе дорогу! У мужчин ведь ветер в голове.

– Расскажите мне о своих друзьях, – попросила она, усаживаясь на край стола, тогда как Ругон стоял перед нею.

Луиджи, который не спускал с них глаз, резко захлопнул ящик с красками.

– Я ухожу! – заявил он.

Но Клоринда побежала за ним и привела обратно, дав клятву, что будет позировать. Она, видимо, опасалась остаться с Ругоном наедине. Когда Луиджи сдался, она стала выискивать предлог, чтобы оттянуть время.

– Позвольте мне только съесть что-нибудь. Я очень голодна! Ну, два – три кусочка!

Открыв дверь, Клоринда крикнула: «Антония! Антония!» – и приказала ей что-то по-итальянски. Не успела она снова устроиться на столе, как вошла Антония, держа на каждой ладони по ломтику хлеба с маслом. Служанка вытянула свои ладони, как поднос; она смеялась глупым смехом, точно ее кто-то щекотал, и широко раскрывала рот, казавшийся особенно красным на смуглом лице. Потом отерев руки о юбку, она повернулась к выходу. Клоринда спросила у нее стакан воды.

– Хотите кусочек? – предложила она Ругону. – Я очень люблю хлеб с маслом. Иногда я посыпаю его сахаром. Но нельзя же всегда быть сластеной.

Сластеной она, действительно, не была. Однажды утром Ругон застал ее за завтраком, состоявшим из куска холодного вчерашнего омлета. Он подозревал ее в итальянском пороке – скупости.

– Три минутки, Луиджи, хорошо? – крикнула она, принимаясь за первый ломоть.

И опять обратилась к Ругону, который все еще не садился:

– Господин Кан, например, – что он за человек, как он стал депутатом?

Ругон согласился на этот допрос, надеясь таким образом что-нибудь из нее выудить. Он знал, что Клоринду занимает жизнь всех и каждого, что она собирает сплетни и внимательно следит за сложными интригами, которые плетутся вокруг. Особо ей интересовали богатые люди.

– Ну, Кан родился депутатом! – ответил он со смехом. – У него и зубы-то, наверное, прорезались на скамье Палаты! При Луи-Филиппе он уже заседал в рядах правого центра и с юношеской страстью поддерживал конституционную монархию. После сорок восьмого года он перешел в левый центр, сохранив, впрочем, свой страстный пыл, и в великолепном стиле сочинил республиканский символ веры. Теперь он опять обретается в правом центре и страстно защищает Империю... А вообще он сын еврейского банкира из Бордо, владеет доменными печами близ Брессюира, считается знатоком финансовых и промышленных вопросов, живет довольно скудно в ожидании большого состояния, которое когда-нибудь наживет; пятнадцатого августа прошлого года ему было присвоено звание офицера ордена Почетного Легиона.

Устремив глаза в пространство, Ругон продолжал вспоминать:

– Кажется, я ничего не забыл... Да, он бездетен...

– Как, разве он женат? – воскликнула Клоринда.

Она сделала жест, говоривший о том, что Кан больше ее не интересует. Он хитрец, он прячет свою жену. Тогда Ругон сообщил, что госпожа Кан живет в Париже, но очень замкнуто. Затем, не дожидаясь вопроса, он сказал:

– Хотите жизнеописание Бежуэна?

– Нет! Нет! – возразила Клоринда.

Но Ругон настоял на своем:

– Бежуэн кончил Политехническую школу. Писал брошюры, которых никто не читал. Владеет хрустальным заводом в Сен-флоране, около Буржа. Выкопал Бежуэна префект Шерского департамента...

– Да замолчите же! – взмолилась молодая девушка. – Достоинейший человек, голосующий за тех, за кого следует голосовать; никогда не болтает, очень терпелив, ждет, чтобы о нем вспомнили; всегда глядит кому нужно в глаза, чтобы о нем не забыли, Я представил его к званию кавалера Почетного Легиона.

Клоринда закрыла ему рот рукой, сердито проговорив:

– Этот тоже женат! И не слишком умен... Я видела его жену у вас, настоящее пугало...

Она приглашала меня посетить их хрустальный завод в Бурже.

Клоринда в одно мгновение покончила с первым бутербродом. Потом сделала большой глоток воды. Ноги ее свешивались со стола; немного сутулясь и откинув голову, она болтала ими в воздухе; Ругон следил за ритмом ее машинальных движений. Видно было, как при каждом взмахе ноги напрягаются под газом ее икры.

– А господин Дюпуаза? – помолчав, спросила она.

– Господин Дюпуаза был субпрефектом, – кратко ответил Ругон.

Клорияда подняла на Ругона глаза, удивленная его немногословием.

– Это я знаю, – заметила она. – А дальше?

– Впоследствии он когда-нибудь станет префектом, и тогда ему дадут орден.

Она поняла, что говорить подробнее он не желает. Впрочем, имя Дюпуаза было произнесено ею небрежно. Теперь она перечисляла знакомых мужчин по пальцам. Она начала с большого пальца и стала называть:

– Господин д'Эскорайль... он не в счет, любит всех женщин подряд... Господин Ла Рукет... говорить не стоит, я с ним достаточно знакома... Господин де Комбело... тоже женат...

Когда она остановилась на безымянном пальце, так как больше не могла никого вспомнить, Ругон, пристально глядя на нее, произнес:

– Вы забыли Делестана.

– Правильно! – воскликнула Клоринда. – Расскажите же мне о нем.

– Он красив, – сказал Ругон, по-прежнему не спуская с нее глаз. – Очень богат. Я всегда предсказывал ему блестящую будущность.

Он продолжал в том же тоне, непомерно расхваливая достоинства Делестана, преувеличивая его богатство. Шамадская образцовая ферма стоит два миллиона. Делестан, несомненно, когда-нибудь станет министром. Губы Клоринды были по-прежнему сложены в презрительную гримаску.

– Он очень глуп! – проронила она наконец.

– Вот как! – с тонкой усмешкой заметил Ругон.

Он, видимо, был в восторге от вырвавшегося у нее замечания.

Тогда, перескочив, по своему обыкновению, к новой теме, Клоринда спросила, в свою очередь пристально поглядев на Рулона:

– Вы, должно быть, хорошо знаете господина де Марси?

– Ну еще бы! Мы отлично знаем друг друга, – словно забавляясь ее вопросом, неприужденно ответил Ругон.

Потом он снова перешел на серьезный тон, выказав немало достоинства и беспристрастия.

– Это человек необычайного ума, – объяснил он. – Я горжусь подобным врагом. Он испробовал все. В двадцать восемь лет был произведен в полковники. Управлял крупным заво-

дом. Попеременно занимался сельским хозяйством, финансами, торговлей. Уверяют даже, что он пишет портреты и сочиняет романы.

Клоринда, позабыв об еде, задумалась.

– Мне однажды пришлось разговаривать с ним, – вполголоса сказала она. – Он очень приятен... Сын королевы!

– С моей точки зрения, – продолжал Ругон, – его портит остроумие. У меня иное представление о силе. Я слышал, как однажды, при очень сложных обстоятельствах, он сыпал каламбурами. А в общем, он добился успеха и царствует наравне с императором. Незаконно-рожденным везет! Лучше всего характеризуют Марси его руки – железные, смелые, решительные и при этом очень тонкие и нежные.

Молодая девушка невольно взглянула на ручки Ругона. Он заметил это и с улыбкой добавил:

– А вот у меня настоящие лапы, не так ли? Потому-то мы с ним никогда не могли поладить. Он вежливо рубит головы саблей, не пачкая белых перчаток. А я быю обухом.

Сжав жирные кулаки, поросшие на пальцах волосами, он помахал ими, довольный тем, что они такие огромные. Клоринда принялась за второй ломоть хлеба и погруженная в задумчивость, откусила кусок. Наконец она подняла на Ругона глаза.

– А вы? – спросила она.

– Вы хотите знать мою историю? Ничего не может быть проще. Дед торговал овощами. До тридцати восьми лет я тянул в провинциальной глуши лямку жалкого адвокатишки. Еще недавно моего имени никто не знал. Я не поддерживал своими плечами всех правительств подряд, как наш друг Кан. Не кончал Политехнической школы, как Бежуэн. У меня нет ни прославленного имени, как у маленького д'Эскорайля, ни красивой наружности, как у милейшего Комбело. Нет родственных связей, как у Ла Рукета, который званием депутата обязан своей сестре, вдове генерала Льюренца, а ныне – придворной даме. Отец не оставил мне пяти миллионов, заработанных на вине, как Делестану. Я не родился на ступеньках трона, как граф Де Марси, и не рос возле юбок ученой женщины, обласканный самим Талейраном.¹⁹ Нет, я человек новый, у меня есть только кулаки.

И Ругон бил одним кулаком о другой, громко смеясь, стараясь держаться шутивого тона. Он выпрямился во весь рост, и вид у него был такой, будто своими руками он дробит камни, – Клоринда восхищенно смотрела на него.

– Я был ничем, а теперь буду тем, чем пожелаю, – продолжал Ругон, забывшись и как бы вслух размышляя. – Я сам теперь сила. Мне смешно, когда все эти господа распинаются в своей преданности Империи. Разве они могут ее любить? Понимать? Разве они не ужились бы с любым правительством? А я вырос вместе с Империей; я сделал ее, а она меня... Звание кавалера ордена Почетного Легиона я получил после десятого декабря, офицера – в январе пятьдесят второго года, командорский крест – пятнадцатого августа пятьдесят четвертого года²⁰, большой офицерский крест – три месяца тому назад. В годы президентства я был одно время министром общественных работ; позднее император послал меня с важным поручением в Англию; потом я вошел в Государственный совет и Сенат.

– А кем вы будете завтра? – спросила Клоринда, стараясь смехом прикрыть остроту своего любопытства.

Он посмотрел на нее и осекся.

– Вы слишком любопытны, мадмуазель Макиавелли.

¹⁹ Талейран Шарль-Морис (1754—1838) – французский реакционный дипломат, прожженный политикан, лишенный всяких моральных устоев, предавал все правительства, которым служил: Директорию, Наполеона, Бурбонов, Орлеанов.

²⁰ 10 декабря 1848 г. Луи Бонапарт был избран президентом Франции; в январе 1852 г. была опубликована новая конституция, давшая президенту власть военного диктатора; 15 августа 1854 г. исполнилось 85 лет со дня рождения Наполеона I; Наполеон III отметил этот день пышными официальными торжествами.

Клоринда сильнее заболтала ногами. Наступило молчание.

Видя, что девушка снова погрузилась в глубокую задумчивость, Ругон счел момент благоприятным для того, чтобы вызвать ее на откровенность.

– Женщины... – начал он.

Но, глядя куда-то вдаль и слегка улыбаясь своим мыслям, она прервала его.

– Ну, у женщины есть другое, – сказала она вполголоса.

Это было единственным ее признанием. Дожевав хлеб и залпом выпив воду, она вскочила на стол с ловкостью искусной наездницы.

– Эй, Луиджи! – крикнула она.

Художник, нетерпеливо кусавший ус, незадолго до этого встал со стула и ходил вокруг Клоринды и Ругона. Он со вздохом сел и взялся за палитру. Три минуты-перерыва, выпрошенные Клориндой, превратились в четверть часа. Теперь она стояла на столе, все еще закутанная в черное кружево. Потом, приняв прежнюю позу, девушка одним движением отбросила его. Клоринда превратилась в статую и не ведала больше стыда.

Все реже катились кареты по Елисейским полям. Заходящее солнце пронизывало бульвар золотой пылью, оседавшей на деревьях, и казалось, будто облако рыже-красного сияния было поднято колесами экипажей. Плечи Клоринды, озаренные светом, лившимся через огромные окна, отливали золотом. Небо постепенно тускнело.

– Брак господина де Марси с валашской княгиней попрежнему решенное дело? – вскоре спросила Клоринда.

– Полагаю, что да. Она очень богата. Марси вечно нуждается в деньгах. К тому же, говорят, он от нее без ума.

Больше молчание не нарушалось. Ругой чувствовал себя как дома, ему в голову не приходило уйти. Прохаживаясь по галерее, он размышлял. Да, Клоринда поистине соблазнительна. Ругон думал о ней так, словно давно уже ее покинул; устремив глаза на паркет, он с удовольствием отдавался не совсем ясным, очень приятным мыслям, от которых ему где-то внутри становилось щекотно. Ему казалось, что он вышел из теплой ванны, – такая восхитительная истома разлилась по его членам. Он вдыхал особенный, крепкий и приторный запах. Им овладевало желание лечь на одну из кушеток и уснуть, ощущая этот аромат.

Его привел в себя шум голосов. Не замеченный Ругоном в комнату вошел высокий старик; Клоринда с улыбкой наклонилась к нему, и тот поцеловал ее в лоб.

– Здравствуй, малютка, – приветствовал он ее. – Какая ты красивая! Ты, значит, показываешь все, что у тебя есть?

Он захихикал, но когда смущенная Клоринда стала натягивать свои черные кружева, живо запротестовал:

– Нет, нет, это очень мило; ты можешь показывать все. Ах, дитя мое, немало женщин видел я на своем веку!

Потом он повернулся к Ругону и, величая его «дорогим коллегой», пожал ему руку со словами:

– Эта девчурка не раз засыпала у меня на коленях в детстве. А теперь у нее такая грудь, что можно ослепнуть.

Старому господину де Плюгерну было семьдесят лет. Выбранный во времена Луи-Филиппа в Палату от Финистера, он оказался в числе депутатов-легитимистов, совершивших паломничество в Бельгрейв-сквер; в результате вотума порицания, вынесенного ему и его соратникам, де Плюгерн ушел из парламента. Затем, после февральских дней, проникшись внезапной нежностью к Республике, он энергично поддерживал ее со скамьи Учредительного собрания. Теперь, когда император обеспечил ему почетный пенсион, назначив членом Сената, он превратился в бонапартиста. Однако он вел себя при этом, как подобает благовоспитанному человеку. Свое глубокое смирение он приправлял иной раз крупницей оппозиционной соли.

Он развлекал себя неблагодарностью. Хотя де Плюгерн был скептиком до мозга костей, тем не менее он горю стоял за нерушимость семьи и религия. Ему казалось, что к этому его обязывает имя – одно из самых громких в Бретани. Иногда он при ходил к заключению, что Империя безнравственна, и во всеуслышание заявлял об этом. Глубоко развращенный, весьма изобретательный и утонченный в наслаждениях, он прожил жизнь, полную сомнительных приключений; о его старости ходили толки, смущавшие покой молодых людей. С графиней Бальби он познакомился во время одного из путешествий в Италию и потом, в течение тридцати лет, оставался ее любовником; разлучаясь на годы, они вновь сходились на несколько ночей в городах, где случайно сталкивались. Кое-кто поговаривал, что Клоринда приходилась ему дочерью, но ни он, ни графиня не были в этом уверены; с тех же пор, как девочка стала превращаться в соблазнительную женщину с округлыми формами, старик стал уверять, что в былые годы очень дружил с ее отцом. Он пожирал Клоринду все еще молодыми глазами и позволял себе на правах старинного друга большие вольности. Господин де Плюгерн, высокий, сухой, костлявый старик, слегка походил на Вольтера, которого втайне глубоко почитал.

– Почему ты не взглянешь на мой портрет, крестный? – обратилась к нему Клорида.

Она звала его крестным просто по дружбе. Де Плюгерн заглянул через плечо Луиджи и с видом знатока сощурил глаза.

– Очаровательно! – промолвил он.

Подошел Ругон; Клоринда соскочила со стола. Все трое рассыпались в изъявлениях восторга. Портрет вышел «чистенький». Художник покрыл холст тонкими слоями розовой, белой и желтой краски, бледной, как акварель. С холста улыбалось миловидное кукольное личико: ротик сердечком, изогнутые брови, нежный киноварный румянец на щеках. Такая Диана вполне годилась бы для конфетной коробки.

– Вы посмотрите только на родинку у глаза! – воскликнула Клоринда, хлопая от восхищения в ладоши. – Луиджи ничего не пропустит!

Хотя обычно картины нагоняли на Ругона скуку, он все же был очарован. В эту минуту он понимал прелесть искусства.

– Рисунок великолепен, – убежденным тоном вынес он приговор.

– Краски тоже хороши, – заметил де Плюгерн. – Плечи как живые... И грудь не плоха... Особенно левая свежа, как роза! А какие руки! У этой малютки великолепные руки. Мне очень нравится эта выпуклость повыше локтя, – она великолепна по пластике.

И повернувшись к художнику, он прибавил:

– Господин Поццо, примите мои поздравления. Я видел одну вашу картину – «Купальщицу». Но этот портрет затмит ее. Почему вы не выставляете? Я знавал дипломата, который чудесно играл на скрипке: это не мешало его служебной карьере.

Весьма польщенный, Луиджи поклонился. Смеркалось, и так как художнику хотелось закончить уху, он попросил Клоринду постоять еще минут десять, не более. Де Плюгерн и Ругон продолжали беседу о живописи. Ругон признался, что специальные интересы мешали ему следить за ее развитием в последнее время, но тут же заверил собеседника в своей горячей любви к искусству. Он заявил, что его мало трогают краски, с него достаточно хорошего рисунка: такой рисунок, очищая душу, рождает высокие мысли. Что до Плюгерна, то он признавал только старых мастеров. Ему удалось побывать во всех европейских музеях, и он не понимает, как это у людей еще хватает дерзости заниматься живописью. Впрочем, месяц тому назад его маленькую гостиную отделал один неизвестный художник, действительно одаренный талантом.

– Он нарисовал мне амуров, цветы и листья, нарисовал бесподобно, – рассказывал старик. – Цветы просто хочется сорвать. А вокруг порхают бабочки, мушки, жучки, ни дать ни взять как живые. В общем, все выглядит очень весело. Я стою за веселую живопись.

– Искусство не создано для того, чтобы нагонять скуку, – заключил Ругон.

Они медленно прохаживались рядом; при последних словах Ругона де Плюгерн каблук башмака наступил на какой-то предмет, расколовшийся с легким треском, словно лопнула горошина.

– Что это? – воскликнул старик.

Он поднял четки, соскользнувшие с кресла, куда Клоринда, очевидно, выгрузила содержимое своих карманов. Серебряный крестик согнулся и сплющился, а стеклянная бусина возле него рассыпалась в порошок. Де Плюгерн, посмеиваясь и размахивая четками, спросил:

– Зачем ты разбрасываешь свои игрушки, малютка?

Клоринда стала пунцовой. Она спрыгнула со стола, губы ее надулись, глаза потемнели от гнева; на ходу закутывая кружевом плечи, она повторяла:

– Гадкий, гадкий! Он сломал мои четки!

И, выхватив их из рук де Плюгерна, она заплакала, как ребенок.

– Да ну же! – не переставая смеяться, уговаривал ее старик. – Вы только взгляните на эту святошу. Она чуть не выпарапала мне глаза, когда однажды утром, увидев веточку букса над ее постелью, я спросил, что она подметает этой метелкой. Не реви же так, дуреха. Я ничего не сделал твоему боженьке.

– Сделал! Сделал! – закричала она. – Вы сделали ему больно.

Клоринда уже не говорила ему «ты». Дрожащими руками она сняла стеклянную бусинку. Потом, заплакав навзрыд, попыталась выпрямить крест. Она вытирала его пальцами с таким видом, будто увидела на металле капельки крови.

– Мне подарил их сам папа, – приговаривала она, – в первый раз, когда я пришла к нему вместе с мамой. Он хорошо меня знает и зовет «мой прекрасный апостол», потому что я как-то сказала, что готова за него умереть. Эти четки приносили мне счастье. Теперь они утратят свою силу, они будут притягивать дьявола.

– А ну-ка, дай их сюда, – прервал ее де Плюгерн. – Ты их не исправишь и только обломаешь себе ногти. Серебро твердое, малютка.

Он взял у нее четки и осторожно, стараясь не сломать, попытался выпрямить крест. Клоринда перестала плакать, пристально следя за ним. Наблюдал и Ругон, не переставая улыбаться: он был безнадежно неверующим, неверующим в такой степени, что молодая девушка два раза чуть-чуть не поссорилась с ним из-за неуместных шуток.

– Черт возьми! – вполголоса приговаривал де Плюгерн. – Не очень-то он мягок, твой боженька. Боюсь переломить его надвое... У тебя появится тогда запасной боженька, малютка.

Старик нажал сильнее. Крест сломался.

– Тем хуже! – воскликнул он. – На этот раз ему пришел конец.

Ругон захохотал. Глаза Клоринды совсем потемнели, лицо перекосилось; она отступила, взглянула мужчинам в лицо и потом, сжав кулаки, изо всех сил оттолкнула их, точно желая вышвырнуть за дверь. Она вышла из себя и осыпала их итальянскими бранными словами.

– Она нас прибьет! Она нас прибьет! – весело повторял де Плюгерн.

– Вот вам плоды суеверия, – процедил сквозь зубы Ругон.

Лицо старика сразу стало серьезным; он перестал шутить и в ответ на избитые фразы великого человека о вредном влиянии духовенства, об отвратительном воспитании женщин-католичек, об упадке Италии, находящейся во власти попов, скрипучим голосом заявил:

– Религия возвеличивает государство.

– Или же разъедает его, как язва, – ответил Ругон. – Об этом свидетельствует история. Как только император перестанет держать епископов в руках – они сразу сядут ему на шею.

Тут в свою очередь рассердился де Плюгерн. Он встал на защиту Рима. Старик заговорил о самых заветных своих убеждениях. Не будь религии, люди снова превратились бы в животных. И он перешел к защите краеугольного камня – семьи. Страшные настали времена: нико-

гда еще порок не выставлял себя так напоказ, никогда еще безбожие не сеяло в умах такого смятения.

– Не говорите мне об Империи! – крикнул он под конец. – Это незаконное дитя революции!.. Мы знаем, что Империя мечтает унижить церковь. Но мы здесь, мы не позволим перерезать себя, как баранов... Попробуйте-ка, дорогой мой Ругон, изложить ваши взгляды в Сенате.

– Не отвечайте ему, – сказала Клоринда. – Стоит вам подстрекнуть его – и он плюнет на Христа. Он проклят богом...

Озадаченному Ругону оставалось только поклониться. Наступило молчание. Молодая девушка искала на паркете обломки креста; найдя их, она тщательно завернула их вместе с крестом в клочок газеты. Постепенно к ней возвратилось спокойствие.

– Ах да, малютка! – вдруг вспомнил де Плюгерн. – Я ведь еще не сказал, зачем я пришел. У меня на сегодняшний вечер есть ложа в Пале-Рояль; я приглашаю тебя и графиню.

– Ну что за крестный! – вся порозовев от удовольствия, воскликнула Клоринда. – Надо разбудить маму.

Она поцеловала старика, сказав, что это «за труды». Потом, улыбаясь, повернулась к Ругону и с очаровательной гримаской протянула ему руку:

– Не надо сердиться. Зачем вы приводите меня в ярость языческими разговорами? Я совершенно глупею, когда при мне задевают религию. Я готова тогда рассориться с лучшими Друзьями.

Между тем Луиджи, увидев, что сегодня ему уж не кончить уха, задвинул в угол мольберт. Он взял шляпу и коснулся плеча молодой девушки, давая понять, что уходит. Она вышла провожать его на лестницу и даже прикрыла за собой дверь; они прощались так громко, что в галерею донесся легкий крик Клоринды и потом заглушенный смех.

Пойду переоденусь, если крестный не согласится везти меня в Пале-Рояль в таком виде, – сказала она по возвращении.

Всем троим такая мысль показалась очень забавной. Стемнело. Ругон собрался уходить, и Клоринда последовала за ним, оставив де Плюгерна одного, – всего на минуту, чтобы переменить платье. На лестнице уже царил полный мрак. Она шла впереди, не говоря ни слова и так медленно, что Ругон чувствовал, как ее газовая туника задевает его колени. Дойдя до дверей, она свернула в свою спальню и, не оборачиваясь, сделала несколько шагов вперед. Ругон последовал за ней. Свет от окон, похожий на белую пыль, освещал неубранную постель, забытый таз, кошку, которая по-прежнему спала среди вороха одежды.

– Вы на меня не сердитесь? – почти шепотом спросила Клоринда, протягивая Ругону руки.

Он поклялся, что не сердится. Сжимая ее запястья, он стал медленно пробираться к локтям, осторожно отодвигая черное кружево, стараясь ничего не порвать своими толстыми пальцами. Клоринда слегка поднимала руки, точно для того, чтобы ему было удобнее. Они стояли в тени ширмы, едва различая лица друг друга. Ругон слегка задыхался от спертого воздуха; в этой спальне он вновь ощутил тот крепкий, приторный запах, который один раз уже опьянил его. Но когда он стал от локтей подниматься к плечам Клоринды, причем руки его стали грубее, она ускользнула от него и крикнула в непритворенную дверь:

– Зажгите свечи, Антония, и принесите мне серое платье!

Очутившись на бульваре Елисейских полей, Ругон с минуту стоял ошеломленный, вдыхая свежий воздух, лившийся с высот Триумфальной арки. На опустелом бульваре один за другим зажигались газовые рожки; их вспышки пронизывали тьму вереницей ярких искорок. Ругон чувствовал себя так, словно только что перенес апоплексический удар.

– Ну, нет! – сказал он вслух, проводя рукой по лицу. – Это было бы слишком глупо!

IV

Крестильная процессия должна была выступить в пять часов от павильона Курантов. Путь ее пролегал по главной аллее Тюильрийского сада, по площади Согласия, улице Риволи, площади Ратуши, Аркольскому мосту, улице Арколь и Соборной площади.

С четырех часов Аркольский мост кишел людьми. Там, над излучиной, образуемой рекою в самом сердце города, могла расположиться несметная толпа. В этом месте горизонт внезапно расширился, завершаясь вдали клином острова Сен-Луи, рассеченным черной линией моста Луи-Филиппа; налево узкий рукав реки терялся среди нагромождения приземистых построек; направо ее широкий рукав открывал подернутую лиловатой дымкой даль, где зеленым пятном выделялись деревья Винной пристани. По обоим берегам – от набережной Сен-Поль до набережной Межиссери и от набережной Наполеона до набережной Курантов – бесконечной лентой тянулись тротуары, а площадь Ратуши напротив моста расстилалась точно равнина. Над этим широким простором небо, июньское небо, чистое и теплое, натянуло огромное полотнище своей бездонной сини.

К половине пятого все было черно от народа. Вдоль тротуаров стояли нескончаемые вереницы зевак, прижатых к парапетам набережных. Море человеческих голов, вздымающееся волнами, заполняло всю площадь Ратуши. Напротив, в старых домах набережной Наполеона, окна были настежь распахнуты, и в их черных проемах сгрудились человеческие лица; даже из окон сумрачных улочек, выходящих к реке, – улицы Коломб, улицы Сен-Ландри, улицы Глатиньи, – выглядывали женские чепцы, развевались по ветру ленты. Мост Нотр-Дам был запружен зрителями, положившими локти на каменные перила, словно на бархат огромной ложи. В другом конце, вниз по реке, мост Луи-Филиппа кишмя кишел черными точками; даже самые дальние окна, крошечные полоски, равномерно пересекавшие желтые и серые фасады домов, которые мысом выступали на оконечности острова, вспыхивали порою светлыми пятнами женских платьев. Мужчины стояли на крышах между трубами. Невидимые люди глядели в подзорные трубки с балконов на набережной Турнель. Косые, щедрые лучи солнца исходили, казалось, из самой толпы; над водоворотом голов взлетал взволнованный смех; среди пестроты юбок и пальто яркие, словно отполированные, зонтики были подобны звездам.

И отовсюду – с набережных, с мостов, из окон – был виден огромный серый сюртук, измалеванный в профиль фреской на голой стене шестиэтажного дома, где-то в глубине острова Сен-Луи, у самой линии горизонта. Левый рукав сюртука был согнут в локте, и казалось, будто одежда сохранила отпечаток и позу тела, которое уже перестало существовать. Какая-то необычайная значительность была в этой монументальной вывеске, озаренной солнцем, вознесшейся над людским муравейником.

Две шеренги солдат охраняли от ротозеев проход для процессии. Справа выстроились солдаты национальной гвардии, слева – пехотинцы; конец этой двойной изгороди терялся где-то в дальнем углу улицы Арколь, украшенной флагами, разубранной дорогами тканями, которые, свешиваясь из окон, слегка задевали черные стены домов. Мост, куда никого не пускали, был единственным безлюдным островком среди толпы, набившейся во все щели; пустынный, легкий, мягко изогнувший свою единственную металлическую арку, он производил удивительное впечатление. Но внизу, на берегах реки, опять начиналось столпотворение. Расфранченные горожане, разостлав носовые платки, сидели в ожидании вместе с женами на земле, отдыхая после долгой дневной прогулки. По ту сторону моста, на глади густо-синей с зеленым отливом реки, у слияния обоих рукавов, лодочники в красных блузах гребли не покладая рук, чтобы удержать лодки на уровне Фруктовой пристани. У набережной Жевр еще существовала плавающая прачечная, корпус которой позеленел от воды; оттуда доносился смех прачек, слышались удары вальков. Весь скопившийся здесь народ, триста – четыреста тысяч человек, порою зади-

рали головы вверх и смотрели на башни собора Нотр-Дам, вздымавшего над домами набережной Наполеона свою квадратную громаду. Позолоченные заходящим солнцем, отливавшим ржавчиной на фоне светлого неба, эти башни сотрясались от оглушительного звона колоколов и как бы дрожали в воздухе.

Уже несколько раз ложные тревоги вызывали давку в толпе.

– Уверяю вас, раньше половины шестого они не проедут, – говорил верзила, сидевший перед кафе на набережной Жевр в обществе супругов Шарбоннелей.

То был Жилькен, Теодор Жилькен, в былое время – жилец госпожи Коррер, скандальный приятель Ругона. Сегодня он облачился в желтый тик: готовый костюм ценою в двадцать девять франков, потертый, измызганный, разлезался по швам; на Жилькене красовались еще дырявые башмаки, светло-коричневые перчатки и широкополая соломенная шляпа без ленты. Когда он надевал перчатки, то полагал, что туалет его закончен. С двенадцати часов дня он таскал за собою Шарбоннелей, с которыми свел знакомство как-то вечером, на кухне у Ругона.

– Все увидите, дети мои, – повторял он, вытирая рукой длинные влажные усы, которые, наподобие черного шрама, пересекали его истасканное лицо. – Вы положились на меня, не так ли? Так позвольте же мне устанавливать порядок и маршрут нашей скромной прогулки.

Жилькен уже осушил три рюмки коньяку и пять кружек пива. Он битых два часа продержал Шарбоннелей у этого кафе под тем предлогом, что нужно, мол, явиться на место первыми. Кафе это ему хорошо известно, в нем очень удобно, говорил он; к официанту он обращался на «ты». Шарбоннели, покоровшись своей участи, слушали и не переставали удивляться его разговорчивости и осведомленности. Госпожа Шарбоннель согласилась выпить стакан подслащенной воды, а ее супруг заказал себе рюмку анисовки, которую он пил иногда в плассанском Торговом клубе. Тем временем Жилькен рассказывал им о крестинах так, точно утром заходил в Тюильри разузнать новости.

– Императрица очень довольна, – говорил он. – Роды прошли великолепно. Она молодчина. Вы увидите, какая у нее осанка. Император только позавчера вернулся из Нанта, – его поездка была вызвана наводнением. Какое несчастье – эти наводнения!

Госпожа Шарбоннель отодвинула свой стул. Она немного побаивалась толпы, которая проходила мимо нее, становясь все гуще и гуще.

– Сколько народу! – прошептала она.

– Еще бы! – воскликнул Жилькен. – В Париж понаехало больше трехсот тысяч человек. Вот уже неделя, как увеселительные поезда свозят сюда провинциалов. Смотрите, вон там нормандцы, здесь гасконцы, а это – франшконтенцы. Я с одного взгляда определяю всех. Недаром я столько побродил по свету.

Потом он сообщил, что суды бездействуют, что Биржа закрыта и все служащие учреждений получили сегодня отпуск. Вся столица празднует крестины. Жилькен стал приводить цифры и подсчитывать, во что обойдутся празднества и церемония. Законодательный корпус отпустил четыреста тысяч франков, но он слышал вчера от тюильрийского конюха, что это сушая безделица, так как одна процессия обойдется в двести тысяч франков. Император может почитать себя счастливым, если ему придется снять с гражданского листа²¹ не более миллиона. Одно приданое младенца стоило сто тысяч.

– Сто тысяч франков! – повторила ошеломленная госпожа Шарбоннель. – Но из чего же оно сделано?

Жилькен снисходительно рассмеялся. Кружева – дорогая штука. Когда он был коммивояжером, он сам продавал кружева. Подсчет продолжался: пятьдесят тысяч франков ушло на пособия родителям законных детей, родившихся в один день с наследником; император и

²¹ Луи Бонапарт, подобно Наполеону I, получал по гражданскому листу (т. е. по закону, определяющему часть бюджета, ассигнуемую на личные расходы монарха) 25 миллионов франков.

императрица пожелали быть крестными у этих детей; восемьдесят тысяч франков истрачено на выпуск медалей для авторов кантат, исполненных в разных театрах. Наконец Жилькен сообщил подробности о ста двадцати тысячах медалей, розданных ученикам коллежей и начальных школ, воспитанникам приютов, унтер-офицерам и солдатам парижского гарнизона. У него тоже есть такая медаль; он показал ее. На медали, величиной в десять су, с одной стороны были выбиты профили императора и императрицы, с другой – профиль наследного принца и дата крещения: 14 июня 1856.

– Не уступите ли вы ее мне? – спросил Шарбоннель.

Жилькен согласился. И когда старик, не зная цены, протянул ему франк, Жилькен великодушно отказался, заявив, что медаль должна стоить не больше десяти су. Госпожа Шарбоннель разглядывала тем временем профили императорской четы.

– У них такие добрые лица, – умиленно говорила она. – Они прижались друг к другу, совсем как простые люди. Поглядите, господин Шарбоннель, если держать медаль вот так, невольно кажется, будто головы эти лежат на одной подушке.

Жилькен начал снова распространяться об императрице и расхваливать ее доброту. Будучи на девятом месяце беременности, она все послеполуденные часы посвящала организации в Сент-Антуанском предместье воспитательного дома для неимущих девиц. Она отказалась от восьмидесяти тысяч франков, собранных по грошам среди народа на подарок маленькому принцу: эти деньги пойдут, согласно ее желанию, на обучение сотни сирот. Жилькен, уже охмелевший, делал безумные глаза, подыскивая нежные интонации и слова, позволявшие сочетать почтительность подданного со страстным восхищением мужчины. Он заявил, что охотно сложил бы жизнь к ногам этой благородной женщины. Никто не возражал. Далекий гул толпы эхом вторил его восхвалениям; постепенно этот шум перерастал в несмолкаемые клики. Колокола Нотр-Дам звонили во всю мочь, пронося над домами громовые раскаты своей оглушительной радости.

– Не пришло ли время занять места? – робко спросил Шарбоннель, которому наскучило сидеть неподвижно.

– Конечно, уже время, – вставая и натягивая на плечи желтую шаль, подтвердила жена. – Вы хотели прийти первыми, а мы здесь теряем время и ждем, пока нас опередят.

Жилькен разозлился. Стукнув кулаком по цинковому столику, он ругнулся. Ему ли не знать обычаев парижан! И когда перепуганная госпожа Шарбоннель поспешно опустила на стул, Жилькен крикнул официанту:

– Жюль, порцию абсента и сигары!

Но стоило ему погрузить свои длинные усы в абсент, как он яростно набросился на Жюля:

– Ты что, издеваешься надо мной? Немедленно убери это пойло и подай такую же бутылку, как в пятницу. Я был коммивояжером и продавал ликеры, старина. Теодора не проводишь.

Когда официант, который явно его побаивался, принес бутылку, Жилькен утихомирился. Дружески похлопав по плечу Шарбоннелей, он стал величать их папашей и мамашей.

– Что, мамаша, ножки зудят? Погодите, еще натопчетесь вечером. Черт побери, папаша! Разве нам плохо здесь, в кафе? Мы сидим, всех видим... Уверяю, у нас есть еще время. закажите себе что-нибудь.

– Благодарствуйте, ни к чему нет охоты, – отказался Шарбоннель.

Жилькен закурил сигару. Он откинулся назад, заложив пальцы за проймы жилета, выпятив грудь и покачиваясь на стуле. Глаза его подернулись блаженным туманом. Вдруг его осенила мысль.

– Знаете что? – воскликнул он. – Завтра в семь часов утра я зайду к вам и утащу с собою; я покажу вам, как веселится Париж. Хорошо придумано?

Шарбоннели испуганно переглянулись. Но он уже подробно излагал им программу дня. Голос у него был как у поводыря медведей, расхваливающего свой товар. Утром – завтрак в Пале-Рояле и прогулка по городу. После полудня, на площади перед Домом инвалидов – военные игры и народное гулянье; триста пущенных в небо воздушных шаров с кулками конфет и огромный воздушный шар, дождем рассыпающий драже. Вечером – обед в знакомом кабачке на набережной Бильи; фейерверк, изображающий купель, прогулка по иллюминированным улицам. Жилькен рассказал про светящийся крест над зданием Почетного Легиона, про сказочный дворец на площади Согласия, для которого потребовалось девятьсот пятьдесят тысяч цветных шкаликов, про башню Сен-Жак со статуей наверху, пылающей, как факел. Так как Шарбоннели все еще колебались, он наклонился к ним и проговорил почти шепотом:

– Потом, на обратном пути, мы зайдем в молочную на улице Сены, – там подают восхитительный сырный суп.

Шарбоннели уже не осмеливались отказаться. Их округлившиеся глаза выражали одновременно любопытство и детский ужас. Они чувствовали, что становятся собственностью этого страшного человека.

– Ах, уж этот мне Париж! – только и могла выговорить госпожа Шарбоннель. – Конечно, раз мы здесь, нужно все повидать. Но если бы вы знали, господин Жилькен, как спокойно нам жилось в Плассане! У меня там портятся запасы, варенье, пьяные вишни, маринованные огурчики...

– Не горюй, мамаша! – Жилькен до того разошелся, что стал говорить ей «ты». – Выиграешь тяжбу и пригласишь меня, ладно? Мы все отправимся к тебе подчищать варенье.

Он налил себе еще рюмку абсента. Он был вдребезги пьян. Несколько мгновений взгляд его нежно покоился на Шарбоннелях. От людей он требует, чтобы у них душа была нараспашку. Внезапно Жилькен вскочил и, размахивая длинными ручищами, стал издавать призывные звуки. По противоположному тротуару шествовала Мелани Коррер в шелковом платье сизосерого цвета. Она обернулась и, видимо, не очень обрадовалась встрече с Жилькеном. Однако она походкой герцогини перешла улицу, покачивая бедрами, и остановилась перед столиком. Прежде чем она согласилась что-нибудь выпить, ее долго упрашивали.

– Послушайте, рюмку черносмородинной! – уговаривал Жилькен. – Вы ее любите... Помните улицу Ванно? Какие были веселые времена! Уж эта мне толстуха Коррер!

Госпожа Коррер села, и в тот же миг улица огласилась громовыми кликами. Прохожие, словно подхваченные ветром, ринулись куда-то, топая ногами, – как взбесившееся стадо. Шарбоннели тоже невольно вскочили, собираясь бежать. Тяжелая рука Жилькена пригвоздила их к месту. Он побагровел.

– Не двигайтесь, черт вас возьми! Ждите команды! Эти болваны останутся с носом. Сейчас только пять часов, не так ли? Значит, проехал кардинал-легат. А нам-то ведь наплевать на кардинала-легата? Я нахожу оскорбительным, что папа не соизволил явиться сам. Если он крестный, то пусть и крестит!.. Даю вам слово, что малыша провезут не раньше половины шестого.

Чем больше пьянел Жилькен, тем меньше в нем оставалось почтительности. Сидя на опрокинутом стуле, он пускал дым в нос соседям, подмигивал женщинам, вызывающе посматривал на мужчин. Неподалеку от них, на мосту Нотр-Дам, образовался затор экипажей; лошади нетерпеливо били копытами, из дверец карет выглядывали сановники и генералы в мундирах, расшитых золотом, сверкающих орденами.

– Ну и погремушек же на них! – с улыбкой превосходства пробормотал Жилькен.

Когда какая-то карета подъехала к набережной Межиссери, Жилькен, чуть не опрокинув стол, заорал:

– Смотрите! Ругон!

Выпрямившись во весь рост, он стал махать затянутой в перчатку рукой. Потом, боясь, что его не заметят, сорвал с себя соломенную шляпу и начал ею потрясать. Ругон, чей сенаторский мундир и без того привлекал внимание, немедленно забился в угол кареты. Тогда Жилькен сложил руки трубой и познал его. На противоположном тротуаре стали собираться люди; они искали глазами того, кого выкликал этот верзила в желтом тиковом костюме. Наконец кучер стегнул лошадей, и карета въехала на мост.

– Замолчите! – прошипела госпожа Коррер, хватая Жилькена за руку.

Но он не пожелал сесть. Он привстал на цыпочки, стараясь разглядеть карету, затерявшуюся среди других экипажей. Вслед убегающим колесам он напоследок выкрикнул:

– Ах, изменник, это все потому, что у него теперь золото на мундире! А ведь ты, мой милый толстяк, не раз брал займы башмаки у Теодора!

Буржуа и их дамы, занимавшие столики маленького кафе, таращили на Жилькена глаза; с особенным интересом прислушивалось семейство – отец, мать и трое детей, – сидевшее напротив. Жилькен пыжился, донельзя обрадованный тем, что у него есть слушатели. Медленно обведя взглядом соседей, он уселся и произнес:

– Ругон! Да ведь я его вывел в люди!

Когда госпожа Коррер попробовала усмирить Жилькена, он призвал ее в свидетели. Ей ли не знать всего? Ведь происходило это в ее гостинице, на улице Ванно. Она не станет отрицать, что Жилькен десятки раз ссужал свои башмаки Ругону, когда тому нужно было идти к почтенным людям из-за каких-то дел, в которых ни черта не понять! В те времена у Ругона была всего-навсего пара дрянных, стоптанных башмаков, на которые не позарился бы и старьевщик. Наклонившись с победоносным видом к соседнему столику и как бы приглашая все семейство принять участие в разговоре, Жилькен воскликнул:

– Она не скажет вам «нет», будьте покойны! Это ведь она купила Ругону первую пару новеньких башмаков.

Госпожа Коррер поставила свой стул так, точно не имела ничего общего с Жилькеном. У Шарбоннелей дух захватило от таких отзывов о человеке, который мог положить им в карман полмиллиона франков. Но Жилькен закусил удила и с нескончаемыми подробностями рассказывал о начале карьеры Ругона. Себя он выставлял философом; он посмеивался, взывая то к одному, то к другому из посетителей, курил, плевался, пил, разглагольствовал о том, что привык к человеческой неблагодарности; ему важно одно: сохранить уважение к самому себе! И при этом без конца повторял, что Ругона вывел в люди он, Жилькен. В те годы он служил коммивояжером и продавал парфюмерию, но из-за Республики торговля шла скверно. Они с Ругоном жили в соседних комнатах, и оба подыхали с голоду. Тогда, по его, Жилькена, совету, Ругон упросил одного пlassenского торговца прислать им оливкового масла. Они сообща взялись за работу, бегали по парижским мостовым до позднего вечера с образчиками масла в кармане. Ругон не был силен в этом деле, но иногда получал все-таки недурные заказы от тех господ, к которым ходил на вечера. Ах, этот пройдоха Ругон глуп, как пробка, и, однако, хитер! Заставил же он потом Теодора поплясать из-за своей политики. Тут Жилькен понизил голос и подмигнул: ведь сам он, как-никак, тоже принадлежал к клике Ругона! Ему приходилось бегать по кабачкам предместий и орать: «Да здравствует Республика!» Еще бы! Чтобы завербовать народ, приходилось прикидываться республиканцем. Империи следовало бы поставить Жилькена хорошую свечку. Как бы не так! Империя ему даже спасибо не сказала. Пока Ругон со своей кликой делил добычу, его вышвырнули за дверь, как паршивого пса. Он не жалуется, ему приятнее сохранять независимость. Жаль только, что он не пошел до конца с республиканцами и не перестрелял из ружья всю эту мразь.

– А маленький Дюпуаза, который делает вид, что не узнает меня! – сказал Жилькен в заключение. – Сколько раз я давал подзатыльники этому мозгляку! Дюпуаза! Супрефект! Я

видел, как он в одной сорочке объяснялся с долговязой Амели, которая выставляла его за дверь, когда он хватал через край.

Жилькен умолк на минуту, внезапно расчувствовавшись. На глаза его навернулись пьяные слезы. Потом он опять заговорил, обращаясь ко всем присутствующим по очереди:

– Вы только что видели Ругона... Я такого же роста, как он. Мы с ним одних лет. Смею думать, однако, что личико у меня чуть-чуть посмазливее. Скажите мне, разве я не выглядел бы приличнее этого жирного борова, если бы сидел на его месте в карете, разукрашенный золотыми бляхами?

Но тут с площади Ратуши донеслись такие оглушительные крики, что посетители кафе сразу забыли о Жилькене... Люди снова ринулись куда-то, замелькали ноги мужчин; женщины бежали, подобрав для удобства юбки до колен, так что видны были белые чулки. Крики раздавались все ближе и постепенно перерастали в отчетливый визг; Жилькен скомандовал:

– Эге! Это малыш! Живее расплачивайтесь, папаша Шарбоннель, и за мной!

Чтобы не отстать, госпожа Коррер схватила его за полу. За нею, задыхаясь, неслась госпожа Шарбоннель. По дороге чуть было не потеряли Шарбоннеля. Жилькен решительно бросился в самую гущу народа, работая локтями и пробивая себе проход с такой уверенностью, что перед ним расступались самые тесные ряды. Добравшись до парапета набережной, он разместил всю компанию. Одним махом он поднимал женщин в воздух и, несмотря на их испуганные возгласы, усаживал на парапет, ногами к реке. Сам Жилькен вместе с Шарбоннелем остались стоять за спинами дам.

– Ну вот, мои кошечки, вы сидите в первом ряду, – успокаивал он их. – Не бойтесь! Мы будем вас держать.

Обеими руками он обхватил пышную талию госпожи Коррер, подарившей его улыбкой. Ну как сердиться на такого повесу! Процессии все еще не было видно. Где-то там, на площади Ратуши, ходуном ходила зыбь человеческих голов, все нарастал и нарастал прибой приветственных кликов; невидимые руки помахивали вдали шляпами, колыхавшимися над толпой, как широкая черная волна, воды которой надвигались все ближе и ближе. Первыми ожили дома набережной Наполеона, напротив площади; из окон, толкая друг друга, высовывались люди; лица их сияли; протянутые руки показывали куда-то влево, в направлении улицы Риволи. В течение трех долгих минут мост все еще оставался пустым. Колокола Нотр-Дам, словно охваченные восторженным иступлением, звонили все громче.

Внезапно перед взволнованно ожидавшим народом на безлюдном мосту появились трубачи. Чудовищный вздох прокатился и замер. Вслед за трубачами и военным оркестром проехал верхом на лошади генерал в сопровождении штаба. Затем, за эскадронами карабинеров, драгун и конвойных войск, показались парадные кареты. Первые восемь были запряжены шестериком. В них сидели придворные дамы, камергеры, свитские офицеры императора и императрицы, статс-дамы великой герцогини Баденской, замещавшей крестную мать. Жилькен, по-прежнему обнимавший госпожу Коррер, шептал ей на ухо, что крестная мать, то есть шведская королева, равно как и крестный отец не потрудились прибыть в Париж. Когда проехали седьмая и восьмая кареты, он назвал сидевших в них лиц с фамильярностью человека, хорошо знакомого с придворной жизнью. Две дамы – это принцесса Матильда и принцесса Мария. Трое мужчин – король Жером²², принц Наполеон и шведский наследный принц; вместе с ними – великая герцогиня Баденская. Кареты двигались медленно. Шталмейстеры, флигель-адъютанты, придворные, ехавшие по бокам, туго натягивали поводья, чтобы придержать лошадей.

– Где же младенец? – нетерпеливо спросила госпожа Шарбоннель.

²² Король Жером – брат Наполеона I, экс-король Вестфалии; до рождения сына у Луи Бонапарта он, согласно декрету от 24 декабря 1852 г., был наследником престола.

– Не бойтесь, под скамейку его не спрячут, – смеясь, ответил Жилькен. – Погодите, сейчас появится.

Он еще нежнее прижал к себе госпожу Коррер, которая не противилась, объясняя, что она боится упасть. Глаза Жилькена зажглись невольным восхищением, и он снова зашептал:

– Что там ни говори, а это в самом деле красиво. Как они, собаки, нежатся в этих атласных коробках! И подумать, что все это – дело моих рук!

Жилькен исходил самодовольством: процессия, толпа, все, что было вокруг, принадлежало ему. Но минутное затишье, последовавшее за появлением первых карет, сменилось громopodobным гулом; шляпы над вздымающимся морем голов теперь взлетали над самой набережной. На середину моста въехали семь верховых курьеров императора в зеленых ливреях и круглых шапочках, с которых свисали золотые нити кистей. Наконец появилась карета императрицы, запряженная восьмеркой лошадей; четыре великолепных фонаря высились по углам кузова; просторная, округлая, с огромными окнами, она напоминала большой хрустальный ларец, украшенный золотым бордюром и поставленный на золотые колеса. Внутри, розовым пятном среди пены белых кружев, четко выделялось личико наследного принца, которого держала на коленях воспитательница принцев крови; рядом с нею сидела кормилица, красивая полногрудая бургундка. Далее, за группой пеших конюхов и конных шталмейстеров, следовала карета императора, не менее великолепная и тоже запряженная восьмеркой лошадей; в ней сидела императорская чета, непрерывно отвечавшая на приветствия. По обеим сторонам карет гарцевали маршалы, не обращая внимания на то, что пыль от колес садилась на шитье их мундиров.

– А вдруг мост провалится! – ухмыльнулся Жилькен, любивший страшные выдумки.

Госпожа Коррер испуганно велела ему замолчать. Но он не унимался, уверяя, что железные мосты всегда непрочны, и когда обе кареты выехали на середину, заявил, что мостовой настил несомненно качается. Как они плюхнутся, черт побери! Сколько воды хлебнут все трое – папаша, мамаша и младенец! Экипажи мягко и бесшумно катились; плавно изогнутый мост был так легок, что казалось, будто кареты висят в воздухе над огромной пропастью реки; они отражались внизу, в синей глади, точно диковинные золотые рыбы, плывущие между двух стихий. Император и императрица, слегка утомленные, откинулись на атлас обивки, радуясь, что могут на мгновение ускользнуть от толпы и не отвечать на приветствия. Воспитательница тоже воспользовалась безлюдьем моста и стала опрашивать сползавшего с колен ребенка; кормилица, склонившись над ним, старалась позабавить его улыбкой. Весь кортеж купался в солнечном свете; сверкали мундиры, дамские наряды, сбруи лошадей; кареты, похожие на раскаленные светила, искрились и отбрасывали ослепительных танцующих зайчиков на черные дома набережной Наполеона. И, словно фон для этой картины, вдали, над мостом, вздымалась монументальная вывеска – намалеванный на шестиэтажном доме острова Сен-Луи огромный серый сюртук, пустой внутри, но в ореоле солнечного сияния.

Жилькен заметил этот сюртук в то мгновение, когда он как бы повис над обеими каретами, и закричал:

– Взгляните-ка! Ведь это – дядюшка.²³

В толпе пробежал смешок. Шарбоннель, не сообразивший, в чем дело, стал просить объяснений. Но люди уже перестали слышать друг друга, зазвучало оглушительное «ура!», триста тысяч человек в общей давке хлопали в ладоши. Когда карета с младенцем доехала до середины моста, а за нею, в широком открытом пространстве, где ничто не стесняло взора, появилась карета императора с императрицей, зрителями овладело непередаваемое волнение. Народ был охвачен одним из тех порывов нервного энтузиазма, которые, словно вихрь, проносятся над городом. Мужчины поднимались на носки, сажали ошавевших детей себе на плечи, жен-

²³ Жилькен намекает на Наполеона I, который был дядей Луи Бонапарта.

щины плакали, осыпая «дорогого малютку» нежностями, от всего сердца сочувствуя мещанской радости императорской четы. Буря приветствий все еще бушевала над площадью Ратуши; на набережных с обеих сторон реки, как вверх, так и вниз по течению, повсюду, куда хватал глаз, волновался лес протянутых, машущих, воздетых рук. Из окон взлетали платки, высывались люди с горящими лицами и черными провалами разинутых ртов. А там внизу, на острове Сен-Луи, узкие, словно нарисованные углем окна вспыхивали белыми блестками, наполняясь какой-то едва уловимой жизнью. Лодочники в красных блузах, стоя в лодках посредине сносившей их Сены, вопили во всю глотку, а прачки, видные только по пояс сквозь окна своего «поплавка», голорукие, растрепанные, обезумевшие, яростно колотили вальками, стараясь привлечь к себе внимание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.